

Вирджиния Вулф • Дерек Джармен • Дебора Девонширская • Алла
Демидова • Евгения Ольденбургская • Гузель Яхина • "Битлз" •
Жаклин Кеннеди • Лулу де ла Фалез • Людмила Петрушевская

ВСЕ В САДУ



Елена Шубина
Сергей Николаевич
Все в саду
Серия «Сноб»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19235997

Все в саду : [рассказы, эссе] /составители С. Николаевич, Е.Шубина.:

АСТ, Редакция Елены Шубиной; Москва; 2016

ISBN 978-5-17-097976-9

Аннотация

Новый сборник «Все в саду» продолжает книжную серию, начатую журналом «СНОБ» в 2011 году совместно с издательством АСТ и «Редакцией Елены Шубиной». Сад как интимный портрет своих хозяев. Сад как попытка обрести рай на земле и испытать восхитительные мгновения сродни творчеству или зарождению новой жизни. Вместе с читателями мы пройдемся по историческим паркам и садам, заглянем во владения западных звезд и знаменитостей, прикоснемся к дачному быту наших соотечественников. Наконец, нам дано будет убедиться, что сад можно «считывать» еще и как сакральный текст. Ведь чеховский «Вишневый сад» – это не только главная пьеса русского театра, но еще и один из символов нашего приобщения к вечно цветущему саду мировому культуре.

Как и все сборники серии, «Все в саду» щедро и красиво иллюстрированы редкими фотографиями, многие из которых публикуются впервые.

Содержание

Роман с садом	6
Турнесоль	14
Сад на границе, или Сад “Русская Швейцария”	21
Письма из Централ-парка	33
Сельская жизнь герцогини	47
Она, сад и ее садовник...	67
Русский акцент	83
Никогда не кормите и не трогайте пеликанов	93
Сокольники	120
Ростки цивилизации	130
Конец ознакомительного фрагмента.	140



Все в саду

Составители Сергей Николаевич, Елена Шубина

Роман с садом



“О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя

жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!”. Неловко признаться, но эти восклицания Раневской долгое время оставляли меня равнодушным. Юность глуха к аффектированным страданиям и ностальгическим фантомам, даже таким великим, как чеховский “Вишневый сад”. Осознание пришло позднее, с нажитым опытом потерь, с пониманием того, что любой сад – это мир. Что гармония редко возможна сама по себе, а требует постоянного присмотра и ухода. Что любое паломничество в знаменитые парки и сады имеет своей целью не столько полюбоваться на общеизвестные красоты, но, как ни странно, вернуться к самим себе, настоящим. Что после всех безумств и стрессов мегаполиса только природа способна помочь нам обрести себя заново, дать глотнуть другого воздуха, успокоить пульс и душу. Бывает и так, что в эти места нас влечет любимое имя. Нам вдруг необходимо представить его обладателя не только в музейных интерьерах, но и на аллеях парка, помнящих его шаги, постоять рядом с деревьями, которых он, может быть, касался или уж точно мог видеть. То особое мистическое чувство, что охватывает нас при посещении Михайловского или Ясной Поляны, на самом деле мало с чем сравнимо.

И идет оно не от какой-то романтической экзальтации, а, скорее, от потребности в красоте, на которую природа реагирует в стократ быстрее и мощнее, чем все музейные экспозиции мира.

Теперь по себе знаю, как начинают меняться отношения

с природой после того, как в твоей жизни появляется сад. И дело тут не в пресловутом праве на собственность, завершенном у нотариуса, а в каком-то совсем другом праве, дарованном тебе от рождения, но которым мы не всегда спешим воспользоваться.

Это право распоряжаться собой, своей жизнью, своей землей. Ты можешь оставить после себя дикую, унылую пустошь, а можешь превратить ее в цветущий, прекрасный оазис.

Ты можешь безвольно подчиниться всепобеждающей энтропии, мотивируя это смирением перед силами природы, а можешь, засучив рукава, попытаться отвоевать хотя бы маленькую территорию и обустроить ее по собственному образу и подобию.

Сад – это всегда автопортрет хозяина. И, конечно, всегда испытание – и не только финансовое. Всегда борьба, и не только с сорняками. Сад – модель мироздания, которую ты сам творишь из подручных средств. Это попытка рая, она не обязательно должна увенчаться успехом, но, по крайней мере, избавит от тягостных сожалений, что тебе не было дано шанса. Если у тебя был сад, то был и шанс. Почитайте биографии великих садоводов, взгляните в пожелтевшие планы и схемы знаменитых исторических парков, похожие на карты выигранных сражений. Да просто зайдите как-нибудь в московский клуб цветоводов-любителей, когда там устраивается выставка-продажа каких-нибудь ирисов или пионов.

Вы мгновенно почувствуете себя участником тайного общества. Глаза горят, руки нервно теребят корни растений, носы в экстазе приникают к лепесткам цветов, а за спиной то и дело звучат диалоги, похожие на шифровки иностранных резидентов:

- Этим летом буду пересаживать Сару Бернар.
- Опасно. Не советую. Сара может не выдержать.
- Знаю. А что делать? Ей темно.
- Выруби всё вокруг.

Оборачиваюсь. Два цветовода, как два заговорщика в штатском, нависли над литровой банкой с роскошными распустившимися пионами. Рядом подпись “Сара Бернар”.

Сад закабаляет. Но это единственный вид рабства, который на самом деле никогда не в тягость, даже если при этом вы приговорены выслушивать жалобы, как всё дорого и как это утомительно – заниматься садом. Не верьте! Так жалуются на любимых, отнимающих слишком много сил, времени и денег.

Буквально у нас на глазах концепция сада в России резко поменялась. Еще недавно это был скромный советский метраж – шесть соток с листиками салата на самодельном огороде. Теперь, судя по отчетам светской хроники в глянце-вых журналах, неведомо за какими заборами простираются необозримые гектары выстриженных газонов для гольфа и благоухают невиданные цветы. За какие-то десять-пятнадцать лет был проделан невероятный путь от скромных па-

лисадников до сложносочиненных объектов со скульптурами и фонтанами. Сад как объект престижа, как демонстрация уровня доходов и притязаний, как серьезная инвестиция в свой собственный имидж. Отсюда нынешний бум на садовую моду. Отсюда постоянный успех московской выставки “*Flower Show*”, которая уже пять лет собирает лучших российских и западных садовых дизайнеров. Теперь не круто летать в Милан на модные показы, зато полагается быть в курсе того, что происходит на выставках садов в Челси и Хэмптон-корте. Никого не удивишь знанием меню мишленовских ресторанов, зато можно произвести правильное впечатление своей осведомленностью по части новых сортов роз, выращенных в садах Багатель или Мальмезона.

Сегодняшний сад давно вышел из-под беспрекословной юрисдикции пенсионеров-отставников и бодрых старушек, помнящих первые пятилетки и войну. Отныне это еще и территория умных снобов, утонченных трендсеттеров и просто состоятельных людей, которые могут себе это позволить. Их еще не очень много. Но они есть, и у них есть дети, а главное – четкое понимание, что экологическая ситуация ухудшается год от года. И скоро нам всем нечем будет дышать. Поэтому единственный способ сохранить себя и жизнь своих детей – это разведение новых садов и поддержание уже существующих.

В этом смысле наша книга “Все в саду”, кроме чисто литературных задач, имеет вполне практическое назначение: че-

рез истории разных садов и их владельцев рассказать о таком явлении, как экология культуры. Вместе с Еленой Шубиной мы постарались объединить очень разных, но близких нам по духу авторов и собрать тексты, где природа присутствует не только в качестве фона, но становится главным сюжето-образующим мотивом. Жанр авторы вольны были выбирать сами: тут и мемуарная проза, и эссеистика, и *non-fiction*, и чистый *fiction*. Получилось действительно что-то вроде литературного сада, буйного, пестрого, непредсказуемого.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог ему “расцвести” в виде этой книги.

И прежде всего президента Московского международного фестиваля садов и цветов Карину Лазареву, с самого начала поверившую в наш проект и поддержавшую его.

Наша самая искренняя признательность руководству группы отелей *Oetker Collection* и его представителю в России Наталье Бобровой, генеральному директору компании *Ars Vitae*, чье деятельное и дружеское участие сделало возможным знакомство с красивейшими садами Европы. Хочу выразить особую благодарность и Татьяне Александровне Гордеевой, тонкому знатоку садоводческой и парковой темы, открывшей для нас музей-заповедник Рамонь, одно из самых поэтичных мест в Центральной России.

...Сад прекрасен тем, что беспрерывно меняется в зависимости от времени года, суток и даже нашего настроения. Роман с ним никогда не может надоесть или наскучить. По-

этому мне лишь остается, чуть перефразируя название нашей книги, пригласить всех в сад!

Сергей Николаевич

Апрель 2016

За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет.

За этот ад,
За этот бред
Пошли мне сад
На старость лет...

Марина Цветаева, "Сад",
1 октября 1934 г.

* 1² Олв. 1934.



Турнесоль

Алла Демидова

При советской власти именитым творческим людям разрешили построить дачный кооператив. Постановили строить четырехэтажный дом на восемьдесят одинаковых квартир. Место для дома выбирал Иннокентий Михайлович Смоктуновский, и поскольку он любил поляны, то выбрал для строительства этого дома чистое место, где небольшая речка впадает в Икшинское водохранилище. Место прекрасное! Смоктуновский, по всей вероятности, любил простор. Его квартира в нашем доме была на четвертом этаже, и он со своего балкона, как капитан с палубы большого корабля, обозревал дали неоглядные. По водохранилищу плыли разнообразные средства передвижения: пароходы, катера и лодки. Причем я потом заметила, что двухпалубные пароходы имели названия “Есенин”, “Блок” или “Ахматова”; трехпалубные – “Толстой”, “Горький”, четырехпалубные – например, “XIV партконференция”. У нас были или бинокли, или подзорные трубы, и потом к ним мы так привыкли, что уже на глаз определяли имя проходящего парохода. А когда после перестройки всё было переименовано, проходит какая-нибудь бывшая “XIV партконференция”, я достаю бинокль и вижу новое название – *LENIN*.

А про любовь к полянам мне потом Смоктуновский говорил: “У каждого человека есть поляна детства. Огромная, красивая. Она дает ощущение общности, на ней ведь невозможно затеряться. Человек – маленький, а на поляне он сам по себе, он ощущает себя и в то же время не одинок. У нас под Красноярском, где я жил в детстве, была такая поляна, загадочная, с голосами неведомых птиц, с извилистой речкой, по вечерам там кричали лягушки. С одной стороны – огромная гора, на которой было кладбище, с другой стороны – такая же гора, где стоял белоснежный храм. И если есть истоки, корни духовности, они у меня там— на моей детской поляне...” Вот поэтому Иннокентий Михайлович и выбрал для нашего дома такую поляну. Горы и храма не было, но были с одной стороны лес, а с другой – огромное колхозное поле. Дом долго строили, и наконец в него перебрались все! Николай Крючков, Рязанов, Кулиш, Таривердиев, Чурикова с Панфиловым, Лиезна и т. д. – художники, композиторы, критики и актеры. Из окна видишь перед собой только поле и за ним голубую гладь водохранилища, а на другом берегу – лес и затерянную в деревьях какую-то деревеньку. Просто хрестоматия! Картинка из букваря. На первом же совместном собрании постановили: по полю не ходить, ничего не копать и не нарушать этот первозданный вид. У меня была квартира на первом этаже, что особенно приближало к земле. Когда сидишь на балконе, кажется, что ты одна на своей даче. Как-то ночью мой любимый кот Вася перепрыгнул

через перила и скрылся во мгле. Я вышла в лоджию и стала тихо звать: “Вася, Васенька!” И вдруг с соседнего балкона слышу: “Алла, я здесь!” Это оказался мой сосед Василий Васильевич Катанян – с ним и его женой Инной Юльевной Гене мы подружились. Собственно, мы все знали друг друга, но, чтобы не нарушать уединения, можно, по общей договоренности, если не встречаться глазами, даже не здороваться или просто улыбнуться друг другу

Через какое-то время в центре нашего поля Иннокентий Михайлович Смоктуновский начал что-то копать. Люди в доме интеллигентные – молча стали наблюдать, что же там вырастет. А в то лето всё поле цвело ромашками, и, конечно, вторгаться в белое пространство было жалко. К середине лета в центре ромашкового царства стало что-то быстро расти и подниматься. Какая-то палка, которая наконец распускается большим желтым подсолнухом. Огромным. Он несколько нарушал горизонтальный ландшафт нашего пространства, и, когда мы сидели на балконе и любовались прекрасными летними закатами, мой приятель, художник Дима Шушкалов, всегда заслонял этот подсолнух рукой. А Нея Марковна Зоркая – кинокритик с мировым именем, которая тоже жила в этом доме, недовольно ворчала: “Это всё ваши актерские замашки, Алла Сергеевна, обязательно у всех на виду, в центре поля...” На очередном кооперативном собрании разразился скандал – люди все творческие, эмоциональные, кричали, что не хотят видеть эту железнодорожную клумбу име-

ни Смоктуновского. А Эмиль Брагинский, немного картавя, добавлял, что он хочет видеть “дикую природу”. И снова постановили: по полю не ходить, ничего не сажать, не портить хрестоматийную красоту пейзажа. На следующее утро Иннокентий Михайлович, как ни в чем не бывало, спокойно окучивал свою клумбу в форме буквы S, а я со своего первого этажа подавала ему воду для поливки, за что в награду получала то горшочек необыкновенных голубых цветов, то корзинку со стручками зеленого горошка, который очень люблю, или лозу дикого винограда. А Дима Шушкалов стал писать картину: на фоне ромашкового поля стоит Иннокентий Михайлович с глазами врубелевского Пана, в своих неизменных летних шортах, в выцветшей от солнца майке, с перекинутым через плечо полотенцем после купания, а рядом с ним огромный подсолнух. На каких-то съемках я пересказываю эту картину Смоктуновскому.

– Алла, дорогая, какой стыд! Что же вы мне раньше не сказали, что художник заслонил рукой мой подсолнух. Я бы его с корнем вырвал!

– Ну что вы, это было так прекрасно и символично: на однообразном фоне ромашкового поля нашей актерской братии вырастает подсолнух – та же ромашка, но большая и иначе окрашенная, как и вы, дорогой Иннокентий Михайлович!

У него светлеют глаза, и уже совсем по-детски:

– Как вы сказали? На однообразном фоне?.. Один... Какой прекрасный образ! Какой точный и прекрасный образ! В

следующем году я там посажу два подсолнуха – будем вместе раздражать!

На следующее лето ромашек на поле не было, всё заполнил красный клевер. Так природа нас удивляла. Смоктуновский продолжал ухаживать за своим наделом, и я со страхом ждала этого диссонанса – на красном фоне два желтых подсолнуха. Ужас!

Но посередине ухоженной клумбы Смоктуновского расцвел один большой красный мак. Один. Еще через год всё поле было белесое в каких-то неизвестных мне мелких полевых цветочках, а посередине клумбы возвышалась большая прекрасная белая лилия.

Семена Иннокентий Михайлович привозил из дальних стран, поэтому на его клумбах и его балконе всегда цвело что-нибудь удивительное. Иннокентий Михайлович нас всех этим заразил, и мы стали потихоньку на другой стороне дома копать маленькие грядки – кто с цветами, кто с помидорами. На одной даже выросли артишоки. Мою грядку мне помогал копать сам Смоктуновский, и хотя поделился своими семенами, ничего путного у меня не выросло.

Очень любовно ухаживала за своим маленьким огородом Зара Агасьевна Долуханова. Как-то мы возвращались с Неей Зоркой из леса с грибами и в дверях встретили Зару, только что вернувшуюся из Парижа. Как всегда, ухоженную, с прекрасным макияжем и наклеенными ресницами. Нея сразу же на нее налетела: “Ну как там Париж? Какие новые оперы в

Опера Бастилии?” – “Ужасно, ужасно, Неечка, катастрофа! Все мои кабачки померзли!”

Мы с Неей любили всем присваивать новые имена: бледную поганку, например, мы называли только “аманита веро-за”; три дерева на краю нашего поля – “три сестры”, потому что одно было большое, пышное – это, конечно, “Ольга”, рядом тонкое молодое деревце – “Ирина”, а чуть поодаль пышная хвоя – “Маша”; или тропинку вдоль нашей речки мы прозвали “Камбоджей”, потому что там было всегда сыро, а соседний молодой лесок мы называли “Гертрудой” (герой труда), потому что там всегда были грибы. И конечно, нашего дорогого Иннокентия Михайловича мы между собой называли Турнесолем, что, как известно, на французском значит “подсолнух”. Сейчас в доме живут другие люди, клумба Смоктуновского не сохранилась, хотя его дочь Маша старается каждую весну ее оживить. А всё поле в высокой траве со случайными полевыми цветами. Через поле вытоптана тропинка от дома до речки, чтобы ближе идти купаться. Грядки разрослись, у некоторых даже вырастают парниковые огурцы. Но как мне жалко, подъезжая к дому, не видеть на берегу нашего знаменитого рыбака Николая Афанасьевича

Крючкова в неизменном черном пиджаке с золотой звездой на лацкане, возвращающегося из леса с прогулки с только что вырезанной большой красивой палкой Владимира Этуша (он переехал в отдельную дачу). Что нельзя уже посмотреть какое-нибудь классное заграничное кино у Васи

Катаняна, не встретить идущую по берегу Инну Чурикову с прижатым к груди очередным сценарием (они с Панфиловым тоже перебрались в отдельный дом). Не увидеть Таривердиева, ловящего ветер парусом серфинга, и уже невозможно зайти под Новый год к Швейцерам, где всегда тебя вкусно накормят.

Сад на границе, или Сад “Русская Швейцария” Гузель Яхина

Мы шныряем между миров, как мыши. Прострачиваем пространство. Сшиваем время, чтобы не развалилось. Город у нас такой: границы и переходы – частой сетью, поверх карты. Русская Казань – и татарская. Каменная – и деревянная. А тут – немецкая. Городская и деревенская. Речная и нагорная. Советская... Граница – никогда не пропасть, не забор, не занавес. Всегда – шов, стык, мосток. Так и живем: туда-сюда, прыг-скок, стежок за стежком.

Фехтованием я занимаюсь в кирхе Святой Екатерины. Пирожками перекусываю во Введенской церкви, их там отменно жарят. В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, забегаю по дороге в институт и учу немецкий; в начале девяностых мечети пахнут свежим ремонтом и стоят пустые, можно уютно устроиться где-нибудь поближе к михрабу и зубрить: *gehen – ging – gegangen...*

А в некоторых местах границы наслаиваются, пространство сгущается – как здесь, у входа в городской парк (имени, конечно, Максима Горького), где мы и стоим с Тимуром.

– Кандалы им сбивали прямо здесь! – кричит он. – Сюда шли – звенели цепями, от самого Петербурга – со всей

России каторжане! А отсюда, с Сибирской заставы, – тихо шагали, шепотом. Это была— граница! Не только городская окраина, а и всей страны – край! Отсюда не убежишь! А куда?! Всё, амба! Добро пожаловать в Сибирь!

Нам – по шестнадцать. Вообще-то мы шли в парк целоваться. Звякает трамвай, делает вокруг нас медленный круг и уезжает обратно по маршруту – вдоль Сибирского тракта, на восток.

От Казани до Уральского хребта – восемьсот кмэ, ровно как и до Москвы. В детстве это казалось очень странным: я всегда чувствовала почти осязаемую близость Сибири и бесконечную удаленность столицы. Сибирь – это названия с родным, похожим на тюркское звучанием: Енисей, Байкал, Сургут, Курган; бабушка, шестнадцать лет прожившая на Ангаре в кулацкой ссылке; та же буреломная тайга, что вблизи Казани, в Марийском крае. А Москва? Всего лишь пахнувший типографской краской Кремль в букваре да черно-белые картинки в телевизоре. Сибирь – вещное, свое; Москва – абстрактное, чужое. По моему внутреннему ощущению, Сибирь должна была начинаться где-то рядом, возможно, как раз у Парка Горького. Ну или парой трамвайных остановок дальше, вниз по тракту.

То, что “великий кандальный” шел через город, никого не смущало: привыкли – полтора миллиона мимо протопа-ло: тут тебе и Радищев, и декабристы, и Герцен, и Достоевский с Плещеевым, и Чернышевский, и матросы с “Потем-

кина”. А ты не балуй— не преступай!.. Иностранцы были более чувствительны – впечатленный трагическими картинами Сибирской заставы немецкий писатель и путешественник Иоганн Шницлер написал о ней словами Данте: “Мы видели тот предел пути, у которого воображение ставит надпись: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!»”.

Представляю: сбивает усталый кузнец колодки с разодранных в кровь ног очередного каторжанина, уныло лязгает железо – ляц! ляц! – а из-за ограды парка несется смех девичий, оркестр наяривает – тубы, трубы, тромбоны... В девятнадцатом веке он звался не парк – сад. И имя носил не чета советскому, на дореволюционных картах так и обозначен: “Сад Русская Швейцария”.

Могучие, крытые пышной зеленью холмы, причудливые овраги, крутой изгиб реки сквозь еловые ветви блестит – и правда, чем не милая русской душе альпийская заграница? В “Семейных хрониках и воспоминаниях” Аксаков описывает, как гимназистами они ловили в этой дикой местности бабочек и заодно окрестили ее Швейцарией. Название прижилось. И вот уже губернатор Шипов выбирает холмы местом своей летней резиденции, за ним подтягивается казанский бомонд, дорожки-беседки, столики-скамейки, благородные гипсовые статуи, рестораны-кондитерские, кабаки-трактиры, шалманы-балаганы, механический театр, эстрада с шансонетками, цирк шапито с гуттаперчевыми акробатами, тараканы бега и широко рекламируемые почтенной публике

собачьи концерты! Как говорится, хоть и Швейцария, а всё ж – наша, расейская!

Следом поспекает немецкая профессура (а ее в городе со времен основания Казанского университета было немало) – заселяет еще пару холмов. Раньше они назывались по-простому – Скотскими, а теперь – Швейцарией Немецкой. В этой части сада, в отличие от русской, всё чинно и очень респектабельно. Можно расслышать, как журчат меж аккуратных дачных домиков облагороженные заботливой германской рукой ручьи. *Das ist aber schön!*

Так и живут они рядом – два разных мира с общей границей, одной оградой и одним названием на двоих. Там, за пределами сада, пусть остаются грязь немощеных улиц, туберкулезная сырость татарских слобод, заболоченные и полные нечистот городские озера, нищие, калики, клопы, комары, каторжане с их колодками и кандалами... Здесь ничего этого нет. Здесь – только радость, жизнь, вечный праздник. Здесь – Швейцария. Белые кружевные заборы неприступны и нерушимы, как государственная граница. Так кажется тем, кто внутри.

Здесь в тридцать третьем году позапрошлого века любитесь липами титулярный советник, камер-юнкер Двора императорского величества Александр Пушкин – испросил отпуск и приехал в Казань собирать материалы для “Истории пугачевского бунта”. Разлапистые липы в саду помнят са-

¹ Это прекрасно (нем.).

мого Пугачева – как раз в этих местах стояла полвека назад перед штурмом Казани армия неудавшегося “императора-освободителя всея Руси”. Город он возьмет и разорит, а через пару месяцев у стен Казанского кремля предъявят его портрет – пойманного, с тусклыми глазами, в цепях, – и сожгут.

Здесь гуляет тенистыми аллеями пятнадцатилетняя Вера Фигнер, будущая российская террористка и революционерка, а пока – воспитанница Родионовского института благородных девиц, что на западной границе сада. Скоро из казанской она отправится в Швейцарию настоящую, заразится там идеями народничества; затем последуют покушения на Александра II, его убийство, аресты и ссылки – до семнадцатого года, всенародная слава и персональная пожизненная пенсия – после. Удивительно, но до конца жизни она так и не приняла Революцию, строчила Советскому правительству письма с просьбой прекратить репрессии, а то лишь терпеливо прятало ее обращения в архив и увеличивало пенсию, увеличивало...

Здесь подрабатывает пением на театральных подмостках юный и еще очень бедный Шаляпин. Бродит в редкие свободные часы еще более юный и еще более бедный Алеша Пешков – вот уж кто не мог предположить, что через пару десятков лет сад назовут его именем! Кстати, стрелял в себя он тоже неподалеку, у подножия швейцарских гор, в Подлужной слободе...

Мы с Тимуром бредем по бесконечной центральной аллее. Тени великих – следом. Ощущать их присутствие странно и весело. Каково им здесь— между плакатов “Миру— мир!”, крытых серебрянкой фигурок пионеров с горнами и стадионом “Трудовые резервы”?

Советским парком Русская Швейцария стала в тридцать шестом, когда было принято решение о ее переименовании, – со всей причитающейся атрибутикой, строго по списку: колесо обозрения, карусели-лошадки, девушка с веслом, кафе-мороженое, эстрада-ракушка (кстати, с превосходной акустикой), наглядные средства идеологической агитации. После войны к стандартному перечню добавился деревянный кинотеатр; строили его пленные немцы. Своих немцев в городе к тому времени осталось мало. Имя “Немецкая Швейцария” по известным причинам исчезло с карт, а территория ее пришла в запустение.

И это было правильно, даже необходимо. На южной границе бывшего сада располагался объект, который к тому времени приобрел очень важное для страны значение. Заросшие бурьяном просторы исчезнувшей Немецкой Швейцарии составляли ему гораздо более подходящее окружение: полоса отчуждения словно многократно расширяла границы объекта, мрачного каменного городка в кольце неприступных стен. Назывался он – психиатрическая лечебница.

Клиника для душевнобольных во имя Всех Скорбящих была открыта в Казани в середине позапрошлого века. С са-

мого начала определяли сюда контингент, невоздержанный в помыслах, не чуявший берегов, бунтарский: революционеров и народовольцев. Лечили принудительно: смирительные рубашки, электросудороги, старая надежная “укрутка” влажной парусиной. Это уж как повезет: кому в “доме скорби” спеленатым лежать, в окошко под потолком выть, а кому – под этими же окошками по “дороге скорби” на восток шагать, по этапам (лечебница лежала аккуратно между Немецкой Швейцарией и Сибирским трактом).

В тридцать девятом по указанию Берии один из корпусов был передан в прямое распоряжение НКВД, и стала клиника называться без обиняков: тюремная психиатрическая больница. Принимала по-прежнему всё больше политических: Андрей Туполев, Лев Галлер, Порфирий Иванов, Валерия Новодворская, Наталья Горбаневская...

Редкие отдыхающие добредали из парка культуры и отдыха до пределов этого каменного городка. Незачем: не было здесь ни культуры, ни отдыха, одни лишь пустынные холмы, к которым постепенно возвращалось старое название – Скотские. Уныло.

А в самом парке было весело: аттракционы, картинг, мороженое (молочное – десять копеек, сливочное – пятнадцать, пломбир – двадцать). Концерты на открытой эстраде по выходным – летом. Прокат лыж – зимой.

В этом парке и прошло мое счастливое советское детство. Мы, жившие неподалеку дети, бежали сюда в любой свобод-

ный час. Мы здесь были – хозяева. Мы были – *парковые*. Мы не признавали границ и торных троп – прокладывали по холмам свои пути, вдоль и поперек мощеных дорожек, просачивались во все щели и дырки в заборах, проникали всюду. Это была территория, свободная от родителей, учителей и пионерских вожатых. Территория самой свободы.

На пугачевских липах мы сооружали тайные убежища. На прогалинах бывшей Немецкой Швейцарии жгли костры. В еловых дуплах устраивали почтовые ящики. Пели, сидя на деревьях. Лазали по оврагам, собирая всякий хлам, – искали становища первобытного человека (Поволжье богато на археологические сокровища, одних только мамонтов найдено целое стадо; и где-то здесь, на этих холмах, еще до революции обнаружили остатки поселения волосовцев – далеких предков финно-язычных народов...).

Мы любили этот парк настоящей взрослой любовью – со всеми его несуразностями и некрасивостями. И даже жутковатую парковую скульптуру любили – уродливые фигуры позднего советского периода: дебелий Иван-дурак с могучими ногами-тумбами в перетяжках лаптей; щуплый Конек-Горбунок, похожий на карликовую собачку со стрижкой каре; доктор Айболит с окладистой бородой, в кругляше медицинской шапочки, неумолимо сцепивший сильные хирургические объятя на шее беззащитного животного кошачьей породы (метко прозванный в народе: Карл Маркс, отрывающий голову тигру).

Не пугала нас и старая замшелая ограда, в которой гостеприимно зияли многочисленные дыры; задумавшись, можно было незаметно для самого себя оказаться внутри Арского кладбища. Это казалось нам естественным: тишина могил рядом с шумным весельем парковой жизни. Граница – размыта, неопределенна: шагая по узким кладбищенским тропкам, ты еще слышишь чей-то визг с чертова колеса, сладко-голосье народных певиц из репродукторов...

Основано кладбище было согласно указу Екатерины Второй. Когда русские солдаты вместе с победой привезли с турецкого фронта смертельные палочки *Yersinia pestis*, в России вспыхнула эпидемия чумы, а следом и чумной бунт. Для подавления обеих зараз царица-матушка с немецкой мудростью приказала отделить живых от мертвых – вынести все кладбища за пределы городов. Сюда, на пустынное тогда еще Арское поле, и было решено отправлять усопших.

Вот оно, царство идеи равенства – все лежат рядом, плечом к плечу: православные, старообрядцы, лютеране, католики и иудеи; начиная с советского времени – и татары.

Композитор Жиганов. Математик Чеботарев и химик Арбузов. Василий Джугашвили, сын. Бренинги. Лобачевский – не понятый современниками автор “воображаемой геометрии”, первооткрыватель пространства постоянной кривизны, где начерченная твердым карандашом разделяющая линия теряет смысл, потому что разъединенные части пространства в конечном итоге всё равно соприкоснутся...

Гулять между заросших могил не страшно: советские дети твердо знают, что привидений не существует. Для нас Арское кладбище – просто часть парка, один из множества составляющих его мирков.

А в конце восьмидесятых парк стал ветшать. Выцвели галстуки улыбчивых пионеров на плакатах, морщинами трещин покрылись статуи, высохли фонтаны, остановилась навеки канатная дорога: гирлянда красных и синих кабинок в рыжих пятнах ржавчины теперь торжественно и недвижимо висела над холмами, над суетящимися внизу людьми и собаками, спешащими машинами и велосипедами и только в самые сильные ветры нехотя, со скрипом, покачивалась...

В этом медленном и достойном угасании была своя красота. Девяностые сыпанули перца в сонный пейзаж, привнесли нотку веселого безумия, оттенок сюрреализма.

Собаки-фламинго – встретим ли мы их сегодня с Тимуром? В парке обитает внушительная стая бездомных псов, разного калибра и экстерьера. Объединяет их одно: каждую зиму их белая шерсть приобретает интенсивный розовый оттенок. Вероятно, красят местные бомжи. Никто не знает зачем. Но когда розовая стая, взметая снег, стремительно летит по сугробам, у лыжников перехватывает дыхание. К лету дерзкий окрас бледнеет, к осени сходит на нет, чтобы к первому снегу опять вспыхнуть зарей.

И покажется ли сегодня Женщина, которая поет? Она всегда возникает внезапно. Вернее, сначала появляется голос

– сопрано, мощное и выразительное, накатывает из-за поворота, заливает округу, легко заглушает несущиеся из столбовых репродукторов хилые песенки. Следом выплывает хозяйка – маленькая, в замызганной кофте или бесформенном пуховике в зависимости от времени года, в лохматом нимбе неизменно распущенных волос. Глаза ее горят вдохновением, яростным и чистым; ноги легко шагают – по траве, по грязи, по сугробам – возможно, даже не оставляя следов. Она поет – всегда. Из ее уст мы впервые слышим самые известные арии: Чио-Чио-Сан, Кармен, Джульетта, фаустовская Маргарита, Наташа Ростова, Шамаханская царица. Для нас она – неотъемлемая часть паркового ландшафта, такая же, как обшарпанные скамейки с гнутыми спинками или фонтанчики с питьевой водой. Нам кажется, что это в порядке вещей: утолять жажду – водой, усталость ног – кратким отдыхом, а грусть – прекрасными мелодиями.

Мне всегда было любопытно: блуждая по парку, забредает ли она за кладбищенскую ограду? Или поет только нам, живым? А еще: откуда она приходит – из обычной квартиры или всё же оттуда, из печального каменного замка психиатрической лечебницы? Просачивается сквозь глухую стену, выскальзывает за охраняемую территорию, чтобы на воле напиться всласть?..

Тимур садится на скамейку, вытягивает ноги.

– В конце концов, – вздыхает устало, – сколько можно гулять? Мы будем сегодня целоваться?..

Он был мне домом – тот зеленый сад, уютно расположенный между кандальным трактом, лечебницей для умалишенных и кладбищем. Сегодня того сада нет. Здесь течет автомагистраль, широкая и гладкая, как Волга, с огромным причудливым бантом дорожной развязки – как раз в том месте, где каторжанам когда-то сбивали с ног кандалы. Бетон и асфальт затопили пространство, легли поверх паутины границ между мирами и временами, поверх наших кривых тропок, стёжек и строчек на снегу. И остались от сада осколки, обломки по краям дороги. Зато автомобилистам теперь не нужно петлять и выкруживать, пробираясь по запутанным старым улочкам; пять минут – и ты уже на другом берегу реки, в другом районе города. Удобно.

Я давно перебралась в Москву – удивительно, она оказалась и на самом деле всего в восьмистах км от дома, не так уж и далеко, – но в Казань приезжаю, много брожу по городу. Заходила недавно во Введенскую церковь (теперь это музей, пирожки там давно не жарят) и в кирху Святой Екатерины (теперь это снова кирха: *bei Gott ist alles möglich*²). В мечеть Нурулла, что у Сенного базара, меня не пустили – теперь женщинам туда вход воспрещен. А в маленький городской парк, уцелевший кусочек бывшей Русской Швейцарии, не заглядываю вовсе. Хотя, говорят, там неплохо: аттракционы, роллеры, сахарная вата. По слухам, даже водятся белки.

² Бог не без милости (нем.).

Письма из Централ-парка

Александр Генис

Порнография недвижимости

– Квадратный сантиметр жилья на Манхэттене, – задумчиво сказал мне Виталий Комар, – стоит больше, чем такая же площадь на моей картине.

Я хотел из вежливости возразить художнику, но не мог, ибо спорить не приходится. Бешеные цены только распалют вожделение. Жители нашего города одержимы порнографией недвижимости. Взрослые, казалось бы, люди прилипают к витринам риелторских контор и горячо спорят о том, как расставят мебель в квартирах, где им никогда не жить.

– Сюда, – говорит она, рассматривая план просторного чулана без кухни, но в Аптауне, – влезет диванчик для мамы.

– Возможно, – соглашается он, – лучше бы ей отдельную комнату, причем в Буффало.

Сам я не мелочусь, ибо давно присмотрел десятикомнатную квартиру в старинном, помнящем обоих Рузвельтов доме возле Музея естественной истории, где старший из двух президентов изображен в штатском, но на коне.

– Три камина, – читает жена объявление вслух, – вид на

Централ-парк и двухсветная зала для танцев.

– И просторная, – подхватываю я, – слышишь, просторная библиотека.

– К тому же не так дорого, – приценивается жена, – во-семнадцать миллионов.

– Пятьсот лет откладывать, – прикинул я на глазок.

А что делать, если Манхэттен – остров, причем, если судить по ценам, сокровищ? Он расположен чудовищно неудобно. Как Венеция, но там хоть машины запрещены, а тут их – миллион, и все стоят в пробках. И всё же во всей известной нам части Вселенной нет адреса желаннее.

– Будущее, – скажут вам, – здесь начинается раньше, прошлое никогда не исчезает, настоящее растягивается в гармошку, и за углом каждого сторожит чудо.

В общем, это правда, и я даже знаю, как оно, чудо, называется: Централ-парк. Ни в одном городе (если не считать самого зеленого – Вашингтона, который забыли достроить) нет такой огромной дыры в городском пейзаже. Аккуратный, вырезанный по линейке парк в сорок три гектара растягивается на полсотни кварталов. Начинаясь у статуи меланхолического Колумба на 59-й улице, он тянется до входа в Гарлем на 110-й. Но пронизывая город, Центральный парк к нему не относится, ибо живет в согласии лишь с собственными эстетическими законами и философскими теориями.

Посольство “Битлз”

Первая достопримечательность, которую я узнал, перебравшись в Америку, не была статуей Свободы. Повернувшись к океану, она смотрит в лицо тем, кто ждал ее на палубе, а я прилетел на самолете. Эмпайр-стейт-билдинг я тоже не сразу признал, еще не умея отличать его фундаментальный силуэт от других небоскребов. Зато я сразу опознал доходный дом в хвастливом стиле купеческого барокко. Он стоял на краю Центрального парка и назывался “Дакота”.

– В восьмидесятые годы девятнадцатого века, когда его построили, – говорят историки, – этот северо-западный угол города казался таким же удаленным от центра цивилизации в Даун-тауне, как расположенная тоже на северо-западе неосвоенная территория Дакоты.

Дело в том, что незадолго до отъезда я прочел роман “Меж двух времен”. Его автор, Джек Финней, придумал лучшую машину времени во всей мировой фантастике.

– Стоит окружить себя вещами прошлого, – утверждал он, – как мы перенесемся в прежнее время.

В романе антикварный ход в XIX столетие вел через эту самую “Дакоту”. Роскошный осколок “позолоченного века”, она и тогда, и сейчас является дворцом буржуазной роскоши. Метровой толщины стены, изысканная кладка серого кирпича, стройные башенки над окнами, благородная патина брон-

зовой крыши. Отсюда герой книги, художник из современного Нью-Йорка, перебирается в прошлое, где чуть не выдает себя в одном примечательном эпизоде. Он рисует приглянувшуюся ему девушку. Однако никто не узнает в искусном портрете модель. И понятно почему. Люди того времени, еще не выдавшие Пикассо и Матисса, не умели увидеть лицо, набросанное несколькими небрежными мазками.

Так или иначе, “Дакота” стала моим первым другом в Нью-Йорке, и я часто навещал её в одинокие дни. Но никогда я не приезжал сюда так рано, как 9 декабря 1980 года. Как все помнят, накануне вечером у ворот “Дакоты” убили Джона Леннона, который жил там вместе с Йоко Оно. Утром у меня хватило ума придти на 72-ю до рассвета, чтобы попрощаться с ним. Траур захлестнул окрестности и выплеснулся в парк. Никто никого не собирал, никто ни о чем не договаривался, но всех выгнали из дома любовь и горе. Тысячи свечей рассеивали утреннюю мглу. Многие плакали и не знали, что делать или сказать. Но потом один нашелся и запел. Толпа подхватила и не остановилась, пока не исполнила весь репертуар. Путая слова, перевирая мотив, но с нарастающим азартом я присоединился к хору, впервые почувствовав себя своим в Америке.

Прах Леннона рассыпали в Централ-парке, напротив его дома. Пять лет спустя это место стало мемориалом *Strawberry Fields*. В 2001 году я опять пришел сюда, чтобы проводить Джоржа Харрисона.

Как-то Пола Маккартни спросили, смогут ли вновь объединиться “Битлз”.

– Нет, – ответил он, – пока Джон мертв.

Про Харрисона можно сказать то же самое. При жизни он держался в тени и считался “тихим битлом”, после смерти стал, возможно, любимым. Самый “восточный” из четверки, он завещал растворить свой прах в Ганге. Его семья попросила отметить кончину медитацией. Для этого напротив “Дакоты”, на “Земляничных полях”, окончательно ставших посольством “Битлз” в Центральном парке, вновь собрались поклонники. Прошло 20 лет, но меньше их не стало. Выбывших заменила молодежь. И когда после ритуального молчания запели “Моя гитара плачет”, все знали слова.

Люди и звери

Если начать прогулку с южного входа, то вскоре вы попадете на аллею памятников. Открывает ее щуплый Шекспир. За ним в один ряд стоят решительный Колумб, романтический Роберт Бернс, корпулентный Вальтер Скотт, бурный, как “Аппассионата”, Бетховен. Парад гениев завершает древний мыслитель, задрапированный во что-то античное. Если бы не подпись, никто бы не узнал в нем изобретателя телеграфа Морзе. И опирается он не на колонну, а на телеграфный ключ. Есть в этом симпатичная, чисто нью-йоркская черта. Сразу видно, что в XIX веке телеграф казался

не менее романтичным, чем вся шотландская поэзия. Нью-Йорку, пожалуй, больше подходит не грандиозное величие многометровой статуи Свободы, которая служит эпитафией ко всей Америке, а сдержанные, хоть и лирические эмоции по более скромному поводу, вроде открытия волоконной связи. Не зря же Нью-Йорк опозитивизировал свой знаменитый Бруклинский мост. В каком еще городе про мост слагаются песни, стихи, даже оперы?

Чем дальше мы заходим в парк, тем глубже погружаемся в прошлое. На смену памятникам духа появляются валуны, оставленные ледниками. И тут же чуть ли не соперничающая с ними в возрасте самая древняя достопримечательность Нью-Йорка. Это египетский обелиск “Игла Клеопатры”. За три с половиной тысячи лет он постарел меньше, чем за последние пятьдесят. Но теперь его очистили от городской копоти, и он стоит как новенький.

Подходя к нему, я от нетерпения всегда прибавляю шаг, хоть и понимаю, что, прожив 35 столетий, обелиск меня подождет. В последний раз, плясь на любимый памятник, я не заметил хлипкого очкарика и чуть не сшиб его с ног.

– Идиот, – закричала жена, удержав меня за полу, – ты хочешь лишить нас Вуди Аллена!

В Централ-парке всегда можно было встретить и других знаменитостей. Чаще всего – Жаклин Кеннеди, которая любила гулять и бегать вокруг водохранилища. Теперь эта кольцевая дорожка носит ее имя. Еще одной первой леди, быв-

шей жене бывшего президента Саркози, настолько понравился наш парк, что она обменяла на него Париж и мужа. Но больше всего Центральный парк ценил художник Бахчанян.

– Это мой летний дворец, – говорил мне Вагрич, называя Зимним дворцом Метрополитен-музей. Живя рядом с обоими, он пользовался ими по назначению. Музей был складом прекрасного, парк – собранием друзей. Вагрич знал каждую тропинку наизусть, каждое дерево – в лицо, каждую тварь – на вид и вкус.

В искусстве Бахчанян предпочитал минимальный сдвиг, отделяющий пафос от пародии. Наиболее знаменитый пример – ленинская кепка. Надвинув ее вождю на глаза, художник превратил Ильича в урку. Тот же минимализм Вагрич исповедовал в рыбалке. Не признавая удочки, он всегда таскал в кармане леску с крючком и забрасывал снасть, где придется, но всегда с успехом. Чаще всего в то самое искусственное озеро, которое обвивает тропа Жаклин Кеннеди и охраняет многометровая проволочная ограда. Когда-то этой водой поили город, теперь ею пользуются чайки, лягушки, рыбы и, пока не умер, Бахчанян. Ловко перебрасывая крючок через забор, он таскал белых окуней, разжиревших без рыбаков. А еще Вагрич собирал в парке грибы, летом – ягоды на варенье. Забираясь в заросли шекспировского холма, где высажены все упомянутые бардом растения, Бахчанян сочинял свои абсурдные и очень смешные тексты.

Как-то Бахчанян привел меня к пруду возле игрушечного

замка Бельведер и поведал о случившейся здесь трагедии.

– Умники из дирекции парка, – рассказывал он, решили украсить водоем золотыми рыбками. Нарядно и выгодно, решили они, потому что живут эти симпатичные твари до тридцати лет, один раз запустил – и любуйся годами.

И действительно, рыбки с наслаждением плескались, навевая, как считают одомашнившие их китайцы, беззаботные думы. Старожилы радовались, туристы – тем более. Но еще больше милые рыбки понравились местным кусачим (это порода, а не темперамент) черепахам, которые к утру съели всех.

– В живых никого не осталось, – подытожил Вагрич, – как у того же Шекспира.

Судьба другой фауны складывается более счастливым образом. В Нью-Йорке живут триста видов диких животных. В аэропорту Кеннеди полно зайцев. Совы выют гнезда на крышах. Часто в город забегают по делам койоты. Кое-где есть косули. Бывают лисы. В метро живут крысы, в канализации, как утверждает всем известная городская легенда, обитает аллигатор, в Централ-парке – все остальные, в том числе белые медведи. В старинном зверинце они живут в ледяном вольере. В летние будни, когда город плавится от жары, к ним во время ланча стекаются клерки в пропотевших пиджаках. Жуя бутерброды, они с завистью глядят, как счастливые мишки плавают в холодном бассейне с прозрачной стеной.

На воле звери живут тоже хорошо, даже слишком. Еноты,

например, стали любимцами окрестных ресторанов. Официанты повадились их кормить роскошными обедами. Особенно понравились енотам спагетти *al deute*, приготовленные лучшими поварами города. Беда в том, что безобразно растолстев, как и вся Америка, еноты не могут залезать на дерево, где им положено жить, и власти строго запретили развращать животных.

Другая драма развернулась в мире пернатых. Ее герой – редкий краснохвостый ястреб по кличке Пэйл-Мэйл, случайно залетевший в Центральный парк и нашедший здесь подругу Лолу. Пара поселилась на верхнем карнизе дома, смотрящего в парк. Квартиры тут стоят по многу миллионов, но и с деньгами не всегда попасть. Никсона, скажем, не пустили, Барбару Стрейзанд – тоже. Домовой комитет решил, что знаменитости привлекут слишком много внимания. Птицы, однако, свили гнездо, никого не спрашивая. Вскоре соседи снизу возмутились, обнаружив, что птицы выбрасывают на их балконы остатки обеда – мех и кости съеденных белок. Гнездо сняли, но после громкого судебного процесса восстановили.

С тех пор птицы прославились не меньше Барбары Стрейзанд вместе с Никсоном. О них писали стихи, книги, песни и даже поставили фильм, который так и называется “Пэйл-Мэйл”. Как это обычно и бывает в Нью-Йорке со звездами, они привлекли внимание папарацци. Круглые сутки за гнездом вели наблюдения вооруженные фотопушками охотники

за сплетнями. Каждая интимная деталь ястребиного обихода – от любви до птенцов – стала достоянием гласности. И когда Лола умерла, съев отравленную белку, весь город рыдал, пока Пэйл-Мэйл не нашел новую подругу.

Апофеоз бесцельности

Свой звездный час, растянувшийся на 16 февральских дней, Центральный парк пережил в 2005 году, когда за него взялся Христо. Тот самый нью-йоркский художник болгарского происхождения, который заворачивал рейхстаг, перекрывал занавесом горное ущелье и устанавливал зонты по обе стороны Тихого океана. На этот раз объектом его монументальной фантазии стал наш парк, вдоль дорожек которого шестьсот помощников художника установили семь с половиной тысяч ворот, украшенных оранжевым пластиком.

Нью-Йорк очень трудно удивить, но Христо это удалось. На читателей газет больше всего действуют цифры: двадцать один миллион долларов, пять тысяч тонн стали (по весу – одна треть Эйфелевой башни), сто тысяч квадратных метров оранжевого нейлона. Однако статистика скорее извращала впечатление, чем передавала его. Сам я в работе Христо не нашел ничего маниакального, скорее – тихий опыт эстетической утопии.

В эти снежные дни Централ-парк стал заповедником бесцельной красоты. Напоминающие японские тории оранже-

вые ворота превратили зимний, а значит, черно-белый пейзаж в цветное кино. Мягко следуя рельефу, взбираясь на пригорки и опускаясь в расщелины, рукотворные достопримечательности не соревновались с природой, а отстраняли ее.

Я приходил в парк через день, потому что открытые всем стихиям “Ворота” Христо меняли жанр в зависимости от погоды. В штиль пятна оранжевой ткани врывались в ландшафт, как полотна Матисса. В солнечный день нейлон, словно витраж, ловил и преувеличивал свет. Ветер, раздувая завесы, лепил из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то песчаные дюны, то цветные сны. Их ведь тоже нельзя ни пересказать словами, ни рассмотреть в репродукциях. Даже лучшие панорамные фотографии не передают впечатления. Это всё равно что танцевать по переписке: теряется магия присутствия.

Хотя я гуляю по Централ-парку сорок лет, мне никогда не доводилось видеть его таким красивым. Чувствуя быстротечную значительность происходившего, нью-йоркцы проходили под воротами, приглушая голоса, как будто участвовали в храмовой процессии. В сущности, так оно и было: толпа зевак превратилась в колонны паломников.

– Когда меня спрашивали, – признался Христо, – зачем всё это нужно, я честно отвечал “ни за чем” и сравнивал свой проект с закатом, который еще никому не принес пользы.

Он, конечно, прав. Подлинное искусство тем и отличается

от, скажем, политического, что не знает, зачем существует, и живет, как мы и природа: бесцельно, для себя.

Геометрия свободы

В Европе парк – итог экспансии и эволюции. Разрастаясь, город захватывал, как Париж – Булонский лес, окрестную природу либо насаждал ее. Но в Америке парки иногда всего лишь меняли названия. Переклеивая этикетки, лес превращали в парк. Так произошло в Бронксе, где обнесли оградой первозданную рощу и включили ее в ботанический сад.

Даже на Манхэттене, на самой северной окраине острова, есть густо заросший холм, который остался таким, каким был до того, как сюда пришли белые люди, включая меня. Прожив рядом с ним *и* лет, я наслаждался им, как дачник. Весной собирал ландыши, осенью – грибы, зимой (мясо на морозе!) жарил шашлыки, на которые приходили полюбоваться зайцы и бездомные.

Но Централ-парк – другое дело. Он уникален по замыслу. Когда его придумали, Новый Свет был еще не только новым, но и не прирученным. На диком Западе, начинавшемся, как до сих пор считают гордые жители Манхэттена, по ту сторону Гудзона, скакали мустанги, бродили бизоны, снимались скальпы и трудились ковбои. Первыми нью-йоркцы любовались в зоопарке, вторых ценили за копченые языки, третьи рассматривали в музеях, о четвертых читали в вестернах, ко-

которые были романами, пока не попали в кино.

В парниковых условиях тесного Манхэттена Центральный парк должен был стать Диким Западом для внутреннего употребления горожан. Он был искусственным, но настоящим заповедником девственной Америки. Как театр в театре, Централ-парк утрировал природу. Заключенная в каменную коробку, она расцвела раем, пренебрегающим ценой и пользой. Не как Диснейленд с его карикатурной географией, не как Национальные парки с их нетронутой красотой, не как романтические сады с их поэтическим произволом, а как макет Нового Света в натуральную величину. Строго вписанный в правильную фигуру, парк демонстрирует свое умышленное происхождение. Зато попавшая внутрь природа живет на свободе. В расчерченном по линейке Манхэттене Централ-парк дарует живительную передышку от геометрии.

Это противоречие создает неповторимый характер Нью-Йорка. Он легко обходится без главной, такой как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине, площади. В Нью-Йорке ею служит большая поляна Центрального парка.

Однажды я видел, как она вместила море людей. Волнами вытекая из метро, они рассаживались на траве в ожидании гуру. На встречу с далай-ламой пришла пестрая толпа, в которую мне и довелось затесаться. Там были хиппи – еще длинноволосые, но уже с лысиной. Панки с ухоженными ирокезами. Ненакрашенные девицы в венках из одуванчиков.

Но были там и солидные адвокаты в галстуках. И строгие, похожие на учительниц, дамы. И веселые монахи-францисканцы с тонзурами. И бритоголовые буддисты. И ортодоксальные евреи с завитыми пейсами. Нас берегли верховые полицейские. Их любовно

ухоженные кони позировали зевакам и сдержанно косились на сочную траву.

Добившись тишины, к микрофону вышел вождь голливудских буддистов Ричард Гир.

– Под цветущими вишнями нет посторонних, – процитировал он хайку в своем переводе и представил старика в круглых очках.

Далай-лама улыбнулся и сказал несколько слов, которые могли бы показаться банальными всем, кроме собравшихся.

– Мы все едины, когда нам хорошо.

Наутро (я специально проверял) на месте стотысячного сборища не осталось ни одной грязной бумажки. Будто поляну встряхнули, словно скатерть.

Нью-Йорк, Централ-парк, март 2016

Сельская жизнь герцогини Дебора Кавендиш

Фрагменты из книги “Пересчитывая цыплят ”

Перевод с английского Андрея Куприна

Она была последней из рода Митфорд. Младшая из шести сестер, эксцентричных и талантливых англичанок, героинь газетной хроники и громких политических скандалов тридцатых-сороковых годов. Одна из сестер была убежденной коммунисткой, другая – замужем за лидером фашистских ультра и до конца дней разделяла его взгляды, третья, перебравшись во Францию, стала знаменитой писательницей... Дебора, герцогиня Девонширская, или, как все ее звали, Дебо (1920–2014), предпочла прожить традиционную жизнь для женщин своего круга. Один муж, двое детей, поместье, родовой замок с сотней слуг, незамысловатые сельские радости и будни... Единственная экстравагантность за всю ее долгую жизнь — страстное увлечение Элвисом Пресли. Знала наизусть все его хиты и даже малоизвестные песни. С каким-то девчоночьим восторгом собирала всё, что касалось ее кумира: автографы, диски, сувениры, гастрольные афиши. Какой контраст с подлинниками Кановы и Гольбейна в дворцовой части замка! Какое несовпадение с общепри-

нятыми вкусами и сословными предрассудками! Но в то-то и дело, что Дебора существовала так, будто их не существовало. Герцогский титул ничего не поменял в ее подлинной человеческой сути. Она была свободна в своих мыслях, словах, поступках. И когда принимала в Чатсуорте королеву Елизавету II, и когда руководила ремонтными работами в замке, сделав его одной из главных достопримечательностей Соединенного Королевства, и когда всерьез занялась разведением кур-несушек (яйца от герцогини Девонширской – это ведь круто!), и когда на восьмом десятке стала осваивать писательскую профессию. Да так, что потом не могла остановиться и каждый год выпускала по новой книге! Ее мемуарные записки – увлекательное и чудесное чтение, которое было сразу же отмечено такими профессионалами, как сэр Том Стоппард и сэр Алан Беннет, снабдившими книги герцогини восторженными предисловиями. В них – жизнь сельской труженицы и очень трезвого летописца целой эпохи, свидетелем которой ей довелось стать. В них – насмешливая невозмутимость и мудрость человека, привыкшего узнавать о смене погоды не из метеосводок, а по знакам, ниспосланным самой природой. В них слышится голос самой Англии, какой мы ее знаем по романам сестер Бронте и Ивлиина Во. Теперь к ним добавятся еще и мемуары герцогини Деборы Девонширской, которые наверняка помогут нам заново открыть и полюбить ее страну.

Сергей Николаевич

Мое детство словно прошло в другом мире. Даже тогда некоторым казалось, что нас воспитывают странно. Но не нам: дети всё принимают как данность.

Я родилась в 1920-м в Оксфордшире и была младшей из семи детей Митфорд – шести девочек и мальчика. Моей старшей сестре Нэнси в то время уже исполнилось шестнадцать. А еще были Памела, Диана, Том, Юнити и Джессика.

Мама мечтала о большой семье и о сыновьях. Каждый раз, как на свет появлялась девочка, она испытывала горькое разочарование.

Нэнси часто и с удовольствием рассказывала мне, какое уныние охватило дом, когда родилась я.

До шести лет мы жили в Эстхолле, особняке елизаветинского периода в прекрасной долине Котсуолд близ Виндраша. Несколько лет назад, когда этот дом выставили на продажу, агент по недвижимости пригласил меня и моего мужа его осмотреть. Я не была там семьдесят лет – с тех пор как мы переехали в Суинбрук. Со странным чувством я смотрела на пустые комнаты и вспоминала, как много людей здесь жило с 1919 по 1926 год: нас семеро; наша няня Нэнни; гувернантка старших детей; Энни, домоправительница, и две ее дочки; повар и кухарка; подсобный рабочий мистер Дайер и, конечно, отец и мать. В такой компании мы жили безмятежно и размеренно, как по часам. С нами всегда были родители, а еще обожаемая Нэнни, которая появилась в на-

шем доме, когда Диане было три месяца, и оставалась с нами долгих сорок лет.

“Амбар”, перестроенный и отделенный от главного дома, был местом обитания Нэнси, Памелы, Тома и Дианы. В их распоряжении была дедовская библиотека. Нэнси и Диана утверждали, что именно благодаря этому обстоятельству у них пробудился интерес к литературе. Страстью брата была музыка. В большой комнате стояло его пианино.

Окна детской смотрели на церковь. Самым младшим запрещалось наблюдать за похоронами, что, конечно, делало это занятие очень заманчивым, и мы всегда нарушали запрет. Однажды мы с Джессикой упали в свежевырытую могильную яму – к радости Нэнси, которая заявила, что теперь всю оставшуюся жизнь нас будут преследовать неудачи.

У нас всегда было много животных: мышей, морских свинок, домашних птиц, коз, была еще пестрая крыса (собственность Юнити). Обитатели фермы и конюшни, сад, который в раннем детстве казался таким огромным, деревня за церковью, почта – таков был наш мир. И другого мы не знали. Летом купались в речке, зимой катались на катке, который заливали на поле между Видфордом и Берфордом.

Нэнси подробно описала наше детство в своих романах “В поисках любви” и “Любовь в холодном климате”, которые неожиданно для нее самой стали бестселлерами. Меня до сих пор спрашивают: “Неужели ваш отец был похож на дядюшку Мэтью из этих книг?”

Да, во многом был. Он мог вдруг страшно рассердиться. Мы трепетали перед ним, но в то же время он умел быть удивительно смешным и развлекал своими шутками всех нас. В паре с Нэнси они смотрелись лучше любого сценического дуэта. Его непредсказуемый нрав усиливал остроту любой игры: нам было интересно, насколько далеко мы можем зайти в наших шалостях. К большому удивлению соседей, он даже охотился на сестер с блаухаундами. Отец был пунктуален до крайности. Если ждал кого-то, например, к полудню, то начинал посматривать на часы за шесть минут до того и повторять с недовольным видом: “Еще семь минут – и мерзавец может уже не приходиться”.

А вот задатков бизнесмена отец был напрочь лишен. Во что бы он ни ввязался, всё заканчивалось крахом. В двадцатых годах он одним из первых поддался канадской “золотой лихорадке”, но приобретенные им участки оказались чуть ли не единственными в округе, где вообще не было золота.

Из-за этого неудачного приобретения и других подобных начинаний, а еще из-за депрессии тридцатых мы переезжали во всё более скромные дома. Впрочем, повзрослев, я только радовалась, что нет больше комнаты, где можно принимать молодых людей и оставлять их погостить, поскольку из безопасного укрытия своей детской насмотрелась, как плохо это заканчивалось для ухажеров моих сестер. Отец не давал им спуска. Когда за обедом в беседе наступала пауза, он обычно кричал через весь стол матери: “У них что, своего дома нет?”

Одного юношу выставили за дверь на снег и мороз только за то, что у него из кармана выпала расческа. Мужчина, который носит с собой расческу...

Это был девятнадцатилетний Джеймс Лис-Милн, выдающийся писатель, который остался нашим другом до конца своей жизни, несмотря на столь странное обхождение.

Мои родители не любили светскую жизнь, поэтому мы редко общались с кем-то, кроме своей семьи – дядюшек, тетушек, кузин и друг друга. Я не помню, чтобы мы куда-то ходили на званый ужин, и к нам почти никто не приходил, пока сестры не повзрослели. Полагаю, мама была очень занята повседневными хлопотами и многочисленными детьми, но отец часто ездил в Лондон на заседания палаты лордов, где он исполнял обязанности председателя комитета по осушению болот. Домой он возвращался с красочными рассказами о коллегах-пэрах, которые тогда были еще более странными особами, чем теперь. Дома он следил за лесными угодьями, полями, фермой и руководил многочисленными работами в усадьбе.

Поскольку я была младшим ребенком и любимицей отца, то скоро поняла, что слезами могу добиться почти всего, чего захочу, в том числе наказания тех, кто меня дразнил.

В остальном, правда, быть самой младшей оказалось не так-то и здорово. Мне никогда не покупали одежды, потому что я всегда донашивала старые вещи сестер. И карманных денег мне давали меньше только потому, что я младше всех.

Моей же сестре Юнити (по прозвищу Бобо) перепало гораздо щедрей, чем полагалось по ее возрасту, – мама говорила, что она любит деньги сильнее любой из нас. Это вызвало громкий хор протеста, который мы устраивали, впрочем, по любому поводу. Это несправедливо. У Бобо есть собственная крыса и еще куча денег, а у нас ничего.

Это несправедливо, громко кричали мы. Но поскольку всё в жизни несправедливо, может, даже хорошо узнать об этом пораньше.

У моей матушки были нестандартные взгляды на здоровье. Мы воспитывались согласно иудейским законам на сей счет – несомненно, весьма мудрым для климатических условий Израиля в эпоху отсутствия холодильников, но едва ли обязательным для Оксфордшира двадцатого века. Мы могли есть мясо только тех животных, “у которых раздвоены копыта и которые жуют жвачку”, а рыбу – “у которой есть чешуя”. Посему нам не полагалось ни свинины, ни моллюсков.

Отец, конечно, получал, что хотел, а нам оставалось с вождением смотреть на колбасу, которую он поглощал за завтраком, и холодную ветчину в присыпке из жженого сахара, которая появлялась в сезон охоты.

Мать не верила в докторов. Ее теория заключалась в том, что если всё оставить как есть, то здоровый организм справится самостоятельно. Когда мы сильно болели, обычно приходила массажистка. Друзья нам завидовали, потому что нас не только не заставляли, нам не разрешали принимать ле-

карства, включая панацею от всех детских хворей – фиговый сироп или, что еще хуже, касторку!

Мама не проявляла ни малейшего интереса, сходили мы в туалет или нет. Она знала, что это рано или поздно случится, и если поздно – какая разница. Здоровый организм в конце концов победит.

А еще нас никогда не принуждали есть то, что нам не хотелось. В те времена такое было редкостью, и я до сих пор благодарна за это. Думаю, что заставлять детей есть то, что им не нравится, или съедать всё – изощренная жестокость.

Когда у Джессики случился приступ аппендицита, мама решила, что нужна операция. Ее провели прямо на столе в детской. Ни у кого даже мысли не возникло, что делать это дома несколько странно. Мы с ревностью наблюдали за суматохой, которая поднялась из-за Джессики, и завели свое вечное “это несправедливо”, когда ей вручили аппендикс в склянке со спиртом.

Мама во многих своих “теориях” опередила время. Хлеб нам подавали только домашний, из непросеянной муки. Мы постоянно клянчили “магазинного”, но его нам почти никогда не покупали.

Мама и дядюшки регулярно писали в газеты о том, что они называли мертвой пищей: о сахаре-рафинаде, белой муке, из которой удалены все отруби, и еще о многом, что теперь, семьдесят лет спустя, стало модной темой. А тогда их считали чудаками.

В школу мы не ходили. Отец не одобрял образование для девочек. Брат – да, он без всяких вопросов прошел всю обычную программу, но девочки – ни за что. Отец не возражал, чтобы мы учились читать и писать, возможно, потому, что до семи лет нас учила мама, но сама идея чего-то большего в высшей степени его раздражала.

Но мама была с ним не согласна. Чтобы разжиться собственными деньгами, она завела птицеферму. Только битые или с мягкой скорлупой яйца предназначались для дома. Сестры даже утверждали, что нас кормят мясом кур, которые умерли своей смертью. Из скромного, но постоянного дохода от фермы мама платила гувернантке, поэтому посещать классную комнату нам всё же приходилось. Не знаю, существовали ли в те времена школьные инспекторы. А если да, то как они прошли мимо моего отца?

Мне стыдно признаться, но у нас была не одна гувернантка – сменилась целая череда бедных женщин. Мы обходились с ними отвратительно, делали их жизнь невыносимой, поэтому они быстро покидали дом. Правда, среди них тоже попадались весьма своеобразные мадам.

Мисс Мэтт любила только одно – карты, поэтому мы играли в карты с девяти до пол-одиннадцатого утра, затем делали получасовой перерыв и продолжали игру до самого обеда. И мы на самом деле научились очень неплохо играть.

Мисс Делл наставляла нас в непростом искусстве шоплифтинга, а попросту говоря, магазинных краж.

Никто из нас не держал никаких экзаменов. Мы были избавлены от мучений, которым подвергаются теперешние дети. Я уж точно не сдала бы ни одного.

У моих сестер был очень сильный характер, причем у каждой свой. И всё же, как и в любой семье, мы были связаны крепкими узами, которые преодолели различия даже в политических взглядах.

Нэнси любила розыгрыши. Мы ей верили – ведь она была намного старше и умнее. С ней никогда не приходилось скучать. Она стала успешной писательницей прежде всего благодаря удивительно точным наблюдениям за жизнью нашей семьи и за отцом, а когда от романов она перешла к историческим сочинениям, залогом успеха ее книг стал упорный труд. Не получив никакого образования, она тем не менее полностью сосредоточилась на предмете и справилась с задачей так, как могла только она.

Памела, следующая по старшинству, буквально во всем отличалась от Нэнси. Посвятившая себя сельской жизни, домашним животным, саду и более всего кухне – она прекрасно готовила, – в нашей семье она была словно святая Марфа.

Мой брат Том, третий ребенок, был обожаем родителями и всеми сестрами, но я его почти не видела, потому что он всегда пропадал в школе. Юрист, музыкант и солдат, он погиб в Бирме в самом конце войны. Родители так и не примирились с этой потерей.

Диана, четвертая из детей, была самой умной и прекрасно

выглядела в любом возрасте.

Следующая – Юнити, задорная, верная, смелая и незаурядная во всём. Она умерла в возрасте тридцати четырех лет.

Джессика – шестой ребенок, кудрявая любимица нашей Нэнни, моя подружка и защитница. Она жила в Америке и яростно боролась за права угнетенных. Подобно Нэнси, она сделала карьеру литератора. С детства Джессика мечтала вырваться из отчего дома. Карманные деньги и дядюшкины подношения на Рождество целиком шли в копилку – на будущий побег. Ее запросы ограничивались комнатой на восточной окраине Лондона. Характер у нее был решительный, и она действительно сбежала в 1936 году. Когда мы узнали, что Джессика отправилась в Испанию сражаться на стороне коммунистов, Нэнни сокрушенно вскричала: “А одежды-то подходящей она не взяла!”

Нэнни была просто чудо, настоящая святая. Я никогда не видела ее рассерженной, не слышала ни одного дурного слова ни в чей адрес. В то же время она была скупа на похвалы и неодобрительно относилась к любым проявлениям заносчивости, которые порой демонстрировали мои сестры.

– Ах, Нэнни, я не пойду к врачу в этом ужасном платье!

– Ничего, дорогая, никто там на тебя смотреть не собирается.

Правда, в другой раз этот аргумент прозвучал весьма не к месту. Тогда восемнадцатилетняя Диана, ослепительно прекрасная в своем свадебном наряде, посетовала:

– Ах, Нэнни, застежка совершенно не подходит. Этот крючок выглядит ужасно.

– Ничего, дорогая. Кто там на тебя собирается смотреть?

Я вспоминаю детские годы как очень счастливое время. Знаю, это немодно, но мысль о школе, такая желанная для моих сестер, для меня была настоящим проклятием. В остальном же мое детство было простым, незатейливым счастьем, и я думала, что нас воспитывают так же, как всех других детей.

Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это было не так.

Чатсуорт

Мы с Эндрю поженились в Лондоне в апреле 1940 года. Всю неделю перед нашей свадьбой город подвергался интенсивным авиационным налетам, и окна в отцовском доме, где планировалось устроить прием, были выбиты. Комнаты казались выцветшими, но мама сделала из обоев чудесные шторы и портьеры, а будущая свекровь прислала огромное количество удивительных цветов, и благодаря этому наш праздник в мрачном военном Лондоне был спасен.

Эндрю, я и наши дети шести и семи лет жили в Энзор-хаусе с большим штатом прислуги и устрашающим дворецким, который любил повторять, что он знал и лучшие времена.

Тем временем Чатсуорт – после того как семья Эндрю в 1939 году покинула этот дом и там была размещена эвакуи-

рованная школа – находился под присмотром управляющего. В 1948 году туда приехали сестры Илона и Элизабет Солимокси.

Они были родом из Венгрии, одна – учительница, вторая – химик. В Англии они оказались в конце тридцатых, поступили на работу в дом моей золовки Кэтлин, а после ее трагической гибели в авиакатастрофе в 1948 году моя свекровь уговорила их приехать в Чатсуорт, чтобы привести запущенную усадьбу в порядок перед тем, как она вновь откроется для посетителей. Через год они вместе с подсобной бригадой из Восточной Европы (в то время никто из англичан не согласился бы на такую работу) уже прочно обосновались в поместье.

Сестры Солимокси повязывали голову косынкой и принимались со своей командой за очередную комнату. Повсюду клубилась пыль, к полудню их лица уже нельзя было узнать. Они работали очень старательно, но у комнат всё равно был довольно жалкий вид. В то время не только бензин и продукты, но почти всё распределялось с большими ограничениями.

Это было печальное место, холодное, темное и грязное. Но, даже несмотря на это, в его атмосфере присутствовало нечто захватывающее. Было так интересно бродить в полумраке комнат. Однако душа покинула это место, и лишь неисправимый оптимист мог надеяться, что она когда-нибудь сюда вернется.

26 ноября 1950 года мой свекор скоропостижно скончался, занимаясь своим любимым делом, рубкой дров, в саду у себя в Комптон-Плейс. Эндрю в это время был в Австралии. Дома его ждали скорбь по ушедшему отцу и проблемы с налогом на наследство, которые повлияли на жизнь многих, кто был связан с Чатсуортом, и, конечно, непосредственно на членов семьи. Этот год был не самым радостным для этого места.

На прошлой неделе, разбирая комод, я обнаружила протокол собрания от 6 июля 1965 года. Присутствовали Тим Берроуз (секретарь благотворительного фонда), Хьюго Рид (доверенный представитель Чатсуорта), Деннис Фишер (в то время управляющий) и я.

Обсуждались обычные вопросы: расходы, превышавшие доходы от дома и сада, работы, которые предстояло провести в усадьбе.

“Мистер Берроуз поинтересовался, есть ли какая-нибудь возможность увеличить выручку за счет посетителей. После долгих обсуждений решили, что открытие кафе или других предприятий питания (что принесло бы дополнительный доход) не только нарушило бы облик местности, но также, очень вероятно, принесло бы скорее вред, чем пользу, поскольку публика будет оставлять больше мусора в саду”. В то время посетители могли подкрепиться лишь холодной водой из крана в стене, над которым теперь написано “Вода для со-

бак”.

То же самое решили и насчет магазинов, посчитав, что едва ли кто-то захочет расстаться с суммой, превышающей входную плату (тогда пять фунтов для взрослых и три для детей). Очень не скоро до меня дошло, что на самом деле каждому хочется купить что-то на память о посещении, что людям хочется есть и пить. Сейчас многие приходят сюда только для того, чтобы закусить или что-то купить.

Я благодарна всем, кто трудится в нашем ресторане и в магазинах, они лучшие в своем деле. Мы не просто гордимся ими – они ведут весьма успешный бизнес, обеспечивая значительный вклад в бюджет дома и поместья.

В семидесятые годы все заговорили о защите окружающей среды. Мы стали получать письма от учителей, которые приносили в Чатсуорт своих учеников, с просьбой показать им окрестности и объяснить, как используется земля. Читая их вопросы и замечания, я понимаю, что многое из того, с чем я была хорошо знакома с самого детства, для большинства нынешних детей – чистый лист.

В 1973 году мы решили открыть в Чатсуорте учебное хозяйство, чтобы показать детям, что еда производится фермерами, которые, кроме того, заботятся о земле, и что эти два дела тесно связаны друг с другом.

Главное событие дня – дойка коров. Народ собирается и замороженно наблюдает за процессом – кто с восхищением, а кто и обескураженно. Один мальчуган из центрально-

го Шеффилда сказал мне: “Это самое отвратительное, что я видел в жизни. Больше никогда не буду пить молоко”.

Такая реакция не редкость. Ни за что не угадаешь, что произведет на них самое сильное впечатление. Однажды мой знакомый, владеющий фермой близ Лондона, принимал у себя группу столичных ребят. Несколько часов он объяснял теорию и практику молочно-товарного производства. В конце экскурсии он поинтересовался, что им понравилось больше всего. И какой-то мальчик, похихикав, выдал: “Смотреть, как коровы ходят в туалет”.

Раз в год, когда в школах проводится день сельского хозяйства, мы расширяем нашу учебную ферму до размеров всего поместья. В последний раз две с половиной тысячи школьников из Дербишира в возрасте от девяти до одиннадцати лет вместе с учителями провели весь день в парке и увидели, как работают хозяйства нашей усадьбы: земледельческое, лесное и охотничье.

Пол, молодой лесник, родившийся и выросший в Чатсворте, и его коллега Фил объясняют, как лес сажают, обрезают, прореживают и, наконец, вырубают, а потом этот цикл повторяется. Деревья вызывают самую острую реакцию. Пол сказал мне: “Увидев пилу, несколько ребят спросили: «Вам нравится убивать деревья? Совесть не мучает? Почему бы просто не взорвать их динамитом – так было бы быстрее? Вы убиваете деревья только затем, чтобы заработать денег?»”

А их учитель спросил: “Неужели нельзя вырубать только

уже мертвые деревья?” А увидев машину для вырубki леса, поинтересовался: “Вы больше не пользуетесь топорами?”

Пол сделал вывод, что ни учителя, ни их ученики ничего не понимают в лесном хозяйстве. “Они видят в этом лишь узаконенный вандализм и думают, что мы только уничтожаем деревья, потому что по телевизору постоянно твердят о вырубке дождевых лесов”.

В отчаянии молодые лесники показали на обширную панораму с группами молодых и старых деревьев и плантациями Умелого Брауна, окружающими парк, и спросили: “Вам нравится всё это?” Дети отвечали: “Да”. “Ну вот, мы как раз и занимаемся тем, что поддерживаем и сохраняем эту красоту”.

Те, кому выпала привилегия владеть землей, должны объяснять людям, которые, естественно, хотят этой землей пользоваться для отдыха, что требуется много денег и сил, чтобы она выглядела привлекательно, чтобы на этой земле хотелось скакать верхом, гулять, бегать и сидеть. Красота нашей страны была создана в основном в эпоху дешевой рабочей силы. А теперь, когда мы прикладываем много усилий, чтобы поддерживать тонкое равновесие между человеком и природой, было бы очень полезно, если бы отдыхающие представляли цену содержания заборов, каменных стен, ворот, ферм, лесных дорог, ручьев и лесов. Несмотря на сгущающийся туман бюрократии, землевладелец до сих пор испытывает радость от владения, но он также несет всю ответ-

ственность, а те, кто пользуется этой землей, – никакой.

Дом открыли для публики сразу же после постройки. В конце XVIII века в день открытых дверей накрывали стол для тех, кто хотел пообедать.

В 1849 году в Роусли пришла железная дорога, это в трех милях отсюда, и в то лето дом и сад посетили восемьдесят тысяч человек. Герцог распорядился, чтобы “фонтаны работали для всех без исключения”.

Посещение дома и сада оставалось бесплатным вплоть до 1908 года, а потом плата за вход (один шиллинг для взрослых и шесть пенсов для детей) перечислялась местным больницам. И только начиная с 1947 года эти средства стали направляться на поддержание усадьбы.

Я много беседовала с теми, кто впервые побывал здесь почти полвека тому назад. Круг интересов изменился, а это место – нет. Здесь по-прежнему нет ни парка аттракционов, ни развлечений, кроме самого дома и его содержимого. То же самое можно сказать и про сад. Возможно, именно поэтому сюда приезжают только те, кто испытывает подлинный интерес. У нас не мусорят и нет случаев вандализма.

Посетителей по-прежнему удивляют размеры дома. Одна девушка сначала долго возмущалась ценой входного билета, заявляя, что не хочет платить так много за осмотр нескольких старомодных комнат, а в конце экскурсии сказала: “Принесите мне стул, я упарилась ходить”.

Отношение к местам, подобным Чатсуорту, за последние пятьдесят лет сильно изменилось. После войны к большим домам и усадьбам в частном владении народ испытывал очевидную неприязнь.

Несмотря на это, сюда приходили – хотя бы для того, чтобы осудить. Драконовская налоговая политика правительства с ликованием поддерживалась местными властями, которые делали всё, чтобы жизнь медом не казалась.

В 1976 году герцог Бедфорд написал в *The Times* забавную заметку об Уоберне. Он пришел к выводу, что “среднестатистический посетитель ездит в исторические дома, потому что он купил автомобиль и ему надо на нем куда-то ездить. Число же тех, кто ищет настоящего просвещения, столь ничтожно, что это повергает в уныние”.

Прошло двадцать лет, и люди теперь хотят увидеть произведения искусства.

Дом, в котором живут потомки тех, кто его построил, кажется более интересным, чем принадлежащий правительству или какой-нибудь организации, даже если его поддерживают в превосходном состоянии. Сказывается острый интерес к владельцам.

Туристы из Америки отказываются верить, что в этом дербиширском Диснейленде кто-то постоянно живет. Дети задают вопросы: “А у них есть телевидение? Они носят короны?”

Меня часто спрашивают, не мешает ли нам наплыв тури-

стов? Напротив, я была бы огорчена, если бы никто не приезжал. Чатсуорт нуждается в людях. Они наполняют его жизнью.

Нам повезло – дом такой огромный, что в нем найдется место для всех. Он так хорошо построен, что, когда в парадных комнатах полно посетителей, ты можешь сидеть в своей части дома и не подозревать, что рядом кто-то ходит.

Иногда приходится слышать удивительные вещи. Я не знала, радоваться мне или огорчаться, когда кто-то сказал зрителю: “Я видел в саду герцогиню. Она выглядит вполне нормально”.

Вид отсюда великолепный. Смотреть в окно моей комнаты и видеть сад, реку и лес – это радость, которой никогда не пресытишься. Ни телеграфных столбов, ни бетонированных обочин, ни дорожной разметки. Утром и вечером в парке ни души. Его безраздельными обитателями становятся овцы и олени. В первый жаркий день овцы собираются в тени дерева, как пожилые женщины, и ты понимаешь, что пришла настоящая весна.

Она, сад и ее садовник...

Жужа Добрашкус

To J.S.M.

*I am not one and simple, but complex and many*³.
Вирджиния Вулф “Волны”

– Мне нужно сегодня уехать.

– Надолго?

– Не знаю.

– Только прошу тебя, будь осторожнее.

– Хочешь со мной?

– А куда ты?

– В Восточный Суссекс.

– Зачем?

– Мне нужно в Родмелл, в дом, где жила Вирджиния Вулф. Я была там впервые двадцать пять лет назад. Там теперь музей. Интересно посмотреть...

– Нет.

– Что – нет? Неинтересно?

– Нет. Не поеду. *I think, it is a perfect opportunity for you to speak to Virginia tet-a-tet*⁴.

³ Во мне не один, простой человек, а множество сложных (англ.).

⁴ Думаю, для тебя это прекрасная возможность поговорить с Вирджинией с

– Наверное, ты прав.

– Только, прошу тебя, будь осторожнее.

Ясный мартовский день. Из Хартфордшира, вокруг Лондона, на самый юг – два часа езды. Нужно не забыть поесть. Я помню, у самого съезда с шоссе был паб...

Вот он. Тут сладко пахнет дровами и пивом, народу много, местных можно узнать по собакам, туристов – по рюкзакам.

Интересно, а она здесь хоть раз была? Или тогда женщины сюда не ходили? Леонард наверняка был. И друзья – те самые “апостолы”, они, конечно, снобы, но не по поводу же эля...

От паба вниз по улице, мимо дома священника, – в самый конец деревни... Вот он, справа, – небольшой коттедж *Monk's House*. Почему он так называется, никто не знает. Никакой монах тут, конечно, не жил...

Какое же теперь это всё маленькое – просто кукольный домик, совсем не запомнила его таким. Посетителей не так много. Это хорошо, иначе было бы тесно. Потолки невысокие, двери узкие. Вирджиния всегда помнила, что она сестра художницы. Так смело использовать краски – прихожая при ней была выкрашена в цвет граната, лестница в комнату Леонарда – сине-зеленая, расписная мебель, и каминная плитка, и много живописи по стенам. Дом небольшой, но в гостиной – пять окон... Вирджиния любила повторять про эти пять

окон... Они снесли несколько стен, чтобы их получить. И наплевать на то, что остался такой разный, кусками, пол... Ну и что? Главное, можно смотреть на три стороны... И принимать гостей. А значит, говорить, играть, слушать граммофон, есть и курить любимые сигары – *Petit Voltigeurs* или вручную скрученные пахитоски.

На столе в столовой стоит огромное блюдо с фруктами. Всё так же, как и двадцать пять лет тому назад... Неужели это всё то же деревянное блюдо? Я помню, тогда за этим столом, рядом с такими же фруктами, сидел человек лет, наверное, тридцати пяти – и мне представили его как родственника Вирджинии... Интересно, кто это мог быть?

Завтракали чаще всего в кухне, с распахнутой дверью. Там недалеко куст сирени, в мае стоял такой аромат... Отсюда по кирпичным ступеням – в комнату хозяйки, по выложенной полукругом дорожке.

Расспрашиваю про ее вещи – про картины, про шаль на кресле и вышитую подушку на стуле. Но ответы скупы, служащие здесь знают мало. Извиняются и листают папки, там есть перечень вещей под номерами, словно опись, составленная следователями. Этих знаний не хватит... Ну как же так? Почему они ничего не знают? Тут работает много новых людей, они улыбки и бесполезны... Может быть, кто-нибудь мне объяснит... Пожалуйста... Идите туда, в основной дом... Там, кажется... В столовой... Да, да... В розовой кофте... Она знает. Ее отец здесь работал. Она видела Вир-

джинию, она ее помнит...

– Как ее зовут?

– Мари... Дочь Перси.

Здесь есть человек, который ее видел? Скорее, скорее в дом... Неужели это настоящий свидетель... Спрашиваю еще у одного работника с бейджем музея на груди... Да. Так и есть. Здесь есть Мари. Ее отец Перси Бартоломей работал садовником у Вулфов. И она ему помогала... Где же она, эта Мари? Где?

Она смотрительница в столовой. Высокая. С седыми курдильками, в очках, носик уточкой. Обстоятельная, чуть стесняется.

– Какая? Какая она была? Вы ее помните? Расскажите о ней!

Мари кивает и складывает за спину руки. Ей восемьдесят пять, но она похожа на школьницу у доски. Прежде чем говорить, вздыхает и делает серьезное лицо.

– Когда Вирджиния шла по деревне, у нее всегда шевелились губы. Она про себя проговаривала фразы из следующей книги... Было видно, как она пытается попасть в ритм шагов... Словно подстраивается... С ней даже заговорить никто не решался, настолько она была увлечена своими мыслями... Редко когда она останавливалась, чтобы поздороваться... Всегда в темном. Высокая и очень-очень худая. Часто ходила туда, к реке... – Мари взмахивает рукой и опять убирает ее за спину. – Но больше всего времени она, конечно,

проводила в доме. Я видела ее здесь, когда приносила овощи. Отец мой был у них садовником. Иногда меня посылали спросить экономку, что нужно принести к обеду из огорода. И тогда я ее видела. Иногда она сидела в саду, но при этом была далеко-далеко... Я старалась не попадаться Вулфам на глаза. Играла в саду, когда их там не было... Но ребенок есть ребенок... До войны они обычно приезжали только на выходные и в праздники. Их часто навещали гости из Лондона, и тогда мой отец просил меня им не мешать... Для меня она была странной хозяйкой, у которой работает отец. Я про нее тогда ничего не знала. Про то, что она знаменита. Совсем. Да и откуда мне знать, я была еще маленькой... И те, кто к ней приезжал, были для нас просто какими-то людьми... – Мари виновато замолкает на минуту. – Я начала помогать отцу и работать в саду, когда мне исполнилось семь... Ножом скребла кирпичи садовых дорожек, а когда появился парник, очищала от земли глиняные горшки для рассады и составляла их в специальные деревянные ящики. Иногда в парник заходил Леонард. Она – нет, – Мари смотрит в потолок, словно вспоминает заученный урок.

– Мари, вы сами отсюда?

– Да. Я родилась здесь, в Родмелле. Леонарду и Вирджинии, кроме этого дома, принадлежали два коттеджа в деревне... Один для садовника, другой для экономки. Я родилась в одном из них в 1930 году. Жили мы в нем до сорок пятого, потом переехали. Она, конечно же, была странной... Да. Но

тем не менее, я думаю, они были счастливы... Она обожала прогулки – и к югу на холмы, и вдоль ручья к реке... Я помню, как они много смеялись, когда приезжали гости... Играли в шары совсем рядом с огородом – на поле для игр... Его они прикупили позже. Чтобы из ее кабинета вид оставался неизменным. Да, можно сказать, они были счастливы, – Мари смотрит на меня. А я на нее. Я ничего не спрашиваю, я знаю, она сначала будет говорить то, что выучила. Она отворачивается к окну и начинает совсем другим тоном.

– Я хорошо помню тот день, когда ее не стало. Мне тогда уже одиннадцать было. Она письмо написала Леонарду и сестре и положила на радио, чтобы нашли. Тогда война была, все радио слушали... Вокруг него собирались и слушали. Так вот она там конверт и оставила. Подписала – “Леонарду и Ванессе”. Она знала, что после работы в саду он подойдет к обеду... и включит радио, чтобы узнать новости. И он действительно пришел и сразу конверт увидел, вскрыл, письмо прочитал и побежал... Помню этот его крик:

– Перси! Быстрее! Бежим!

Я никогда не забуду его лица. И как отец всё побросал и побежал за ним... Куртку с вешалки схватил и побежал. Долго ее тогда искали, но не нашли. И на реке искали, – Мари замолкает и смотрит на носки своих туфель. Ей точно восемь, а не восемьдесят пять...

– Спасибо. Спасибо, Мари.

Выхожу из дома. Если пойти прямо, через весь сад, до са-

мого огорода, уткнешься в невысокую каменную изгородь, за ней – церковь и старое кладбище вокруг. А слева – место ее работы. Но пока пройдешь до него, сад успевает тебя заполнить.

Сад...

Место, которое должно было ее излечить... Место, где ей должно было стать лучше. Сад радостей земных... САД. Понятие для англичан почти сакральное. Почему ты ее не спас?

Вот персиковое дерево наклонилось над самой дорожкой, на нем устроился белый клематис. Рядом клинками оцетинились ирисы, за ними седые кусты лаванды и огромный фикус. Успеваешь набрать воздуха у пруда с рыбками и тут же ныряешь в омут фруктовых деревьев. Поздним летом здесь будет много-много яблок, и ветки в их коралловых ожерельях прогнутся до самой земли. Еще сливы, груши и инжир. Магнолия с огромными восковыми цветами. А за всем за этим, в углу, у самой кладбищенской ограды, после набухших яблонь, груш и корявой черешни, – маленький садовый домик, в котором она писала, и окно в этом домике смотрит на заливные луга, на гору Кабарн, на широкие долины Суссекса, прочь от всего этого цветочного буйства. Леонард писал, что она была слишком дисциплинирована в работе, приходила в свой рабочий кабинет “с регулярностью биржевого маклера”. Там она писала первый вариант от руки, сидя в низком кресле, а потом пересаживалась за стол, перепечатать то, что написала. Вот он, ее любимый письменный

стол. Она его обожала, считала его симпатичным, уютным, располагающим. Да, он действительно чудный – в ящичках. Мытое-перемытое дерево.

А страстью Леонарда стал Сад.

Сначала Вирджиния к Саду была снисходительна.

“Наш сад – точно пестрый ситец: астры, мелкие хризантемы, циннии, нежный гравилат, настурции и тому подобное – все яркие, словно вырезанные из цветной бумаги, жесткие, торчащие, как, собственно, цветы и должны быть”.

Считала, что он отвлекает ее от главного.

“У меня здесь было столько возможностей написать самое интересное – диалог души с душой, но я упустила это – почему? Да потому что меня отвлекали кормление рыбок, любование на вновь выкопанный пруд, игра в шары... счастье, наконец...”

Леонард же отдавал Саду всё больше и больше своего времени. Цветы стали его особой страстью. Сначала это были банальные георгины, гвоздики, астры и лакфиоль, потом он вошел во вкус и появились необычные – фрезии и глоксинии, различные из лилейников, книпхофия, которую здесь называют “раскаленная кочерга”, и ирисы “черная вдова”. Да чтобы еще вырастить самому, из семян, в теплице, а не покупать рассадой. Здесь у него проявился этот дар. Дар садовника.

Так, постепенно, Сад в отношениях стал третьим. Леонард не был против, а даже скорее за. Ей же приходилось конку-

рировать с Садом, соблазнять мужа прогулкой. И не всегда он соблазнялся. Сад, сад, сад... Она слишком часто упоминает о нем в дневниковых записях... Она красит гостиную в ярко-салатовый, чтобы доказать, что зелени может хватить и без него. Она смеется над страстными садоводами...

“Помню, – начала она, – моя тетушка разводила кактусы. В оранжерею можно было попасть прямо из обширной гостиной. Входишь, а там на трубах отопления – десятки этих уродливых, приземистых, маленьких колючек, каждая в отдельном горшке. Раз в сто лет алоэ цветет, так говорила тетушка. Но она не дожила до этого”.

Когда же проявились первые знаки нелюбви? Когда Сад начал ее пугать? Может, тогда, когда она с ужасом написала в своем дневнике, как у самой ее спальни ночью Леонард давил на кирпичной дорожке собранных с листьев улиток? Как страшен был этот скользкий скрежет? Сад стал слишком агрессивен для нее... И еще ей приходилось делить с ним Садовника.

– Ой, да, да, спасибо, это моя сумка. Я хотела ее забрать, потом забыла, спасибо, что вы принесли ее мне. Нет, спасибо. Я не волновалась. Я просто ее там оставила. Да, да, я понимаю. Спасибо. Какие милые люди. Да, это моя ручка – где вы ее нашли? В саду? Спасибо. Когда я умудрилась уже потерять ручку? Спасибо. А можно мне присесть на стул в ее спальне? Да, этот – у самого камина. На этот изящный стул с зеленой обивкой и вышитым на ней букетом? Хоть на мину-

точку. Я осторожно. И потом пойду за сумкой. Отсюда видно только траву и дерево грецкого ореха. Даже церковь не видно. Но точно слышно колокол. Наверное, к августу окно зарастает. Сад. Волшебный сад... Но почему она выбрала себе комнату с окнами на самую скромную его часть, самую простую?

Так... Нужно проверить, есть ли в сумке ключи. А для этого нужно где-то присесть и всё аккуратно из нее извлечь. Нет, это всё не то. Ключи... Ключи...

Монкс-хаус был, безусловно, для нее бегством. Но бегством с возможностью вернуться. Вернуться в лондонский Блумсбери в любую минуту... И когда вдруг это стало невозможным, когда бегство превратилось в постоянное место проживания – всё стало для нее невыносимым. И тогда она ушла. И еще она освободила его. Освободила от себя. Садовник не справлялся с двумя... Всё встало на свои места.

Она слишком долго жила, думая о смерти, и потому не смогла дождаться и вышла ей навстречу. Так бывает, когда больше нет сил ждать. Она и так ждала уже слишком долго. И дальше не было смысла.

А у Леонарда он был – он строил парник, он подкармливал, обрезал и прививал... Он неустанно трудился, пока она боролась со своими демонами. Однажды он ослабил внимание... Ее садовник.

Присаживаюсь на каменную низкую изгородь. Как при-

ятно нежное, весеннее солнце. Закрываю глаза. Пахнет скошенной травой и мульчей. Слышно, как открывается дверь садового домика. В проеме узкой стеклянной двери вырастает долговязая фигура. Я сразу ее узнаю. Она осторожно перешагивает завалившийся на ступеньку цветок нарцисса. Я вижу пуговицы на ее туфлях. Толстые в резинку чулки. Но она всё равно мерзнет. Затолкала руки в карманы длинной кофты. Длинная юбка замялась по подолу. Потягивается, растирает предплечья, вертит худыми запястьями. Щурится на солнце. У нее тяжелые веки и глубоко посаженные глаза. Узел волос съехал низко на шею, на плечи выбилось несколько прядей. Она шевелит губами, недовольно качает головой из стороны в сторону. На лице выражение болезненной скорби. Словно она не соглашается с собой. Видит меня и смущается. Она не привыкла к чужим. Я стою против света, она поднимает руку, загораживая лицо от солнца. Когда видит, что я смотрю на нее, сконфуженно кивает и опускает руку. Она замедлила шаг, ей неловко. Она не знает, кто я, что я здесь делаю и почему. Я кланяюсь ей и улыбаюсь. Она в растерянности останавливается на том расстоянии, на котором можно всё еще не разговаривать... Оглядывается на домик. Я тоже не двигаюсь, не отхожу и не подхожу ближе.

– Вирджиния, что заставляет вас писать?

Она опять смотрит на меня из-под руки.

– “Ничего ведь не произошло, пока это не описано кем-то...” Верно?

Из кустов выбегает собака.

– Пинки! – восклицает она, спаниель, крутя хвостом, тычется ей в ноги, она неловко присаживается, чтобы его погладить. Он вьется перед ней рыжим пламенем. Она опирается одной рукой о землю, чтобы не упасть.

– Пинки! Пинки, что ты делаешь? Ты меня свалишь.

Неловко поднимается, усаживается на крыльцо и смеется. Пинки на минуту прижимается к ее ногам, но тут же, болтая ушами, уносится в те же кусты, из которых появился. Она зовет его, но он уже занят чем-то другим. Она пожимает острыми плечами, извиняясь, смотрит на меня.

– Всем нужен хороший садовник, – говорит она мне и отворачивается. Ее внимание привлек огромный шмель, он пытается влезть в слишком узкую корону нарцисса. И вот она уже не здесь... Шевелит губами, длинные пальцы выписывают в воздухе непонятную вязь.

– Вы понимаете? Садовник! – повторяет она вслух и улыбается.

“Л. возится с рододендронами” – ее последняя запись в дневнике, тоже по поводу сада...

Она была совершенно не такой серьезной, как принято думать... Да, была умной и сдержанной, но также смешной и даже беззаботной, когда не работала, любила задавать вопросы, много и разные. У нее был невероятный интерес к тому, как устроена жизнь. Ее изумляли люди, она обладала способностью наблюдать и видеть малейшие нюансы их сосуще-

ствования. Но, с интересом изучая других, она не знала себя... Получив домашнее образование, она не имела возможности сравнивать себя со сверстниками. Она писала в дневнике о том, что не могла понять, какая же она – красивая или уродливая, умная или не очень, талантливая или совсем нет.

Конечно, компания снобов научила чувствовать ее одной из них... Даже нездоровье Вирджинии было не лишено снобизма. В ее галлюцинациях птицы говорят с ней исключительно на греческом. И юношеский, кембриджский снобизм Вулфа никуда не делся... Его врожденное дрожание рук Вирджиния в шутку называла выражением еле сдерживаемой ненависти мужа к человечеству в целом. И оттого Сад стал для него спасением.

Мы все в какой-то степени вскормлены мифами, воспевающими волшебные сады, а уж жители Англии воспитаны в духе их абсолютного обожествления. Но как часто горожанин, мечтая о безмятежной радости в тиши деревьев и цветов, рисует себе картину райского умиротворения и счастья, а оказываясь там, испытывает невероятную вселенскую тоску...

Вирджиния рвалась в Лондон даже из Ричмонда. И Сад Монкс-хауса был хорош для нее по выходным, скорее как площадка для приема друзей. Но в момент переезда сюда “навсегда”, в безнадежности войны, в холоде и относительном одиночестве, Сад был ей противопоказан. Она нуждается в помощи, а садовник занят Садам. Леонард писал, что

для него Родмелл с бомбами милее, чем Лондон без...

Когда? Когда Вирджиния и Сад становятся соперницами? Крамольная для англичан мысль... Но, я думаю, случилось именно так. Человек, по-настоящему любящий Сад, никогда не уйдет весной, когда всё только начинается, когда впереди столько работы... Он скорее уйдет в конце лета или осенью, с чувством выполненного долга, вместе со смертью Сада, в преддверии бездейственной зимы.

Она же сделала это в конце марта... Да, зима в сорок первом была долгой и холодной.

“Никогда не было у нас такой средневековой зимы. Электричество отключили. Готовили на огне, ходили немывые, спали в чулках, замотанные в шарфы”.

Континентальная Европа ведет войну, угроза вторжения фашистских войск на территорию Британии вполне реальна. В Лондоне во время бомбежки разрушен их дом, уничтожена библиотека, полная редких книг. Они перебираются в коттедж Родмелла на постоянное проживание. Наверное, тогда она ощутила всю свою беспомощность и бесполезность... В случае прихода фашистов судьба Леонарда была бы весьма печальной. И она страстно обсуждала план их совместного самоубийства, если всё же немцы сюда доберутся... Леонард запасся бензином, чтобы в крайнем случае отравиться угарным газом в гараже, и купил цианид.

Конечно, в конце такой зимы можно устать... Можно сказать – хватит. Солнце встает так поздно... можно решить,

что и вовсе не взойдет... Но это зимой! А март уже не зима... Март – это когда всё уже позади... Когда всё наконец начинает дышать. Когда появляются первые признаки пробуждения. Гремит ручей, ему вторят птицы, веет влажной ожившей землей и робкими ароматами первых цветов. Стоят набухшие, выпавшиеся яблони в толстых почках... В марте появляется надежда на то, что всё еще будет. И скоро отогреется душа... И как именно тогда уйти? Причем уйти сложно, с усилием, с борьбой. Не на подушках, не засыпая с ядом, а в холодную, грязную воду. Как? В марте можно уйти, только испугавшись Сада. Его силы. Его власти.

Хорошо бы взять воды из машины. Жаль, что я запарковалась у паба. Но ведь двадцать пять лет назад никакой стоянки здесь не было. Потому я о ней ничего не знала... Наверное, ее сделали, когда дом перешел в национальный траст. Но и до паба недалеко. Так что пойду туда. Так... Кажется, я потеряла ключи от машины. Сунула их куда-то, а теперь не могу найти. В сумке... Они должны быть в сумке. А сумка? А сумку оставила, когда говорила с Мари. Блокнот взяла, а сумку оставила там, в столовой. Наверное, положила на стул. А потом забыла об этом.

До реки Оуз, не торопясь, идти минут двадцать. От дома, за деревню, через поля. Весной река бурная, темная, течение сильное. Вода словно кипящий эль. Как трудно ей было это сделать... Ведь она хорошо плавала, и река не такая глубокая. Пришлось набрать в карманы камней, чтобы утянули...

Недели через три ее тело ниже по течению нашли дети...

“Против тебя бросаю я непокоренного, не уступившего себя, о Смерть”.

Ее пепел захоронили в Саду. Над ним сейчас ее бюст. Она смотрит растерянно, даже испуганно.

“Не думаю, что два человека могли бы быть счастливее, чем были мы...”

После смерти Леонарда садом лет десять никто не занимался. В 2000-м дом сдали постояльцам. Они въехали туда зимой... Чтобы заняться восстановлением сада, ждали весны – хотели увидеть, что же в нем осталось? Что же в нем взойдет? И вот наступившей весной взошли кругом одни белые флоксы. Летом Сад стал белым-белым... Белым, как тогда, в ее последнюю зиму...

“В субботу выпал снег, весь сад накрыло толстым слоем белой сахарной глазури...”

Как хорошо, что есть на свете садовники...

Он идет мне навстречу и улыбается.

– Как я мог отпустить тебя одну?

Он все-таки приехал...

И тогда сразу находятся ключи. И у него в руках бутылка воды. И всё становится таким настоящим и осмысленным.

Русский акцент

Евгений Водолазкин

Марта Шрайбер преподавала немецкий иностранцам, а Юрий Фролов был ее студентом. После третьего курса Челябинского техуниверситета он по студенческому обмену приехал в Мюнхен. Имя “Юрий” Марта произносила без конечного йота, а слово “Челябинск” не способна была выговорить вообще. Юрий мог бы упростить Марте задачу, назвавшись, скажем, кратким “Юра”, но он этого не сделал. Юрий значит Юрий – он предпочитал, чтобы его приняли во всей сложности. Впрочем, учебному процессу это не мешало – немецкий Марта знала хорошо, и в данном случае это было главным. В конце концов, для того, чтобы обучать немецкому, обязательно произносить слово “Челябинск”.

Юрий изучал вроде бы немецкий в школе, но по прибытии в Мюнхен знания его не подтвердились. По шестибальной системе уровень знаний Юрия оценили как нулевой, что было ему как-то даже и обидно. С другой стороны, по результатам теста

Юрия отправили на полугодовые курсы, а это автоматически продлевало его пребывание в Мюнхене. Продлению Юрий был рад, поскольку с возвращением в Челябинск не торопился.

В общей сложности занятия длились семь часов в день. Начинались они с двухчасовой разминки в лингафонном кабинете, а затем, после обеда, группу брала к себе Марта. Она спрашивала домашнее задание и объясняла новый материал. Когда отвечал Юрий, Марта неизменно говорила: “Ваша задача, Юри, избавиться от русского акцента”. Несмотря на небольшой преподавательский стаж, девушка различала акценты очень хорошо.

В конце занятий, чтобы снять всеобщую усталость, Марта изображала разные типы произношения – английский, французский, итальянский и, конечно же, русский. Русский у нее получался с раскатистым переднеязычным “р”. Показав русский выговор на примере слова “шпрехен”, Марта обычно произносила слово “коррида”, и это было по-настоящему смешно. “Шпрррехен, – рычала Марта, наслаждаясь произведенным впечатлением, – а должно быть: шпхехен. Не гром, а ветерок, легкое такое грассирование. Шпхехен. Повторите, Юри”. Юрий повторял, и вся группа дружно сползала от смеха под столы.

Занятия оканчивались около восьми вечера. Часть группы шла к ближайшему метро, а часть – в том числе и Юрий – уезжала домой на велосипедах. Посчитав количество предполагаемых поездок, он в первые же дни решил, что дешевле будет купить подержанный велосипед. Дешевле и полезнее для здоровья. К тому же велосипедный путь Юрия домой частично совпадал с путем Марты.

В сущности, их пути могли бы совпадать и полностью (общежитие Юрия находилось неподалеку от ее дома), но возле Триумфальной арки Юрий сворачивал в Английский сад — огромный парк в центре города. Он ехал по темному парку, а она — по ярко освещенной улице, тянувшейся вдоль парка. Марта не раз пыталась отговорить своего ученика ехать через парк, но он не поддавался. “Чего вам не хватает на этой улице для нормальной езды?” — спрашивала она его. “Риска, — отвечал Юрий, глядя ей в глаза. — Для русского человека Мюнхен — слишком благополучный город. Мне нужно постоянно чувствовать риск”. В глазах Марты не было ничего, кроме удивления.

Стоял конец октября, и когда они выходили на улицу, было уже темно. В мигающем свете рекламы они отмыкали замки своих велосипедов. Включали велосипедные фонари: Марта — новенький галогеновый, Юрий — старый, работающий на электрогенераторе. Прислоняя колесико генератора к шине, Юрий думал о том, что его мышечная сила, в отличие от батареек Марты, ничего не стоит. При небольшой стипендии, которая ему была назначена, это имело значение.

На широких велосипедных дорожках — например на Королевской площади — они ехали рядом. На узких дорожках, какие обычно бывают на улицах, Юрий выезжал вперед. Всё, что они проезжали, было очень не похоже на Челябинск. Время от времени Марта предлагала остановиться и проводила короткие экскурсии. Она говорила медленно, как на за-

нятиях, но всё равно Юрий многого не понимал.

Однажды на площади Каролины Марта показала ему обелиск памяти баварцев, погибших в 1812 году в составе войск Наполеона. Несмотря на то что баварцы сражались в России, надпись на обелиске сообщала, что погибли они за независимость своей родины. Юрия надпись озадачила, но он ничего не сказал. Возможно, в воспроизведении Марты он в очередной раз чего-то не разобрал. Не исключено, наконец, что это была широко понятая независимость.

Нужно заметить, что с каждым днем по-немецки Юрий изъяснялся всё лучше. Память его была цепкой, он на лету хватал новые слова и интонации. В их совместных с Мартой поездках Юрий был уже не только слушателем, но всё больше и больше – рассказчиком. Как-то раз он рассказывал ей о времени, проведенном в армии, и о том, как научился разбирать автомат Калашникова за шесть секунд. А собирать за двенадцать. “Зачем же его нужно разбирать так быстро?” – спросила Марта. “Ну, – махнул рукой Юрий, – на всякий случай...” – “Если на случай боя, – продолжала рассуждать Марта, – то автомат нужно не разбирать, а собирать. Я бы вообще сказала, что оружие лучше хранить в собранном виде, а не собирать его в последний момент”. Медленное и четкое произнесение прибавляло сказанному убедительности. Как человек, помогший советом в чужой ему области, Марта испытывала легкую гордость.

На досуге Юрий размышлял о том, что и в самом деле не

знает, зачем разбирают и собирают автомат на время. Как много, удивлялся он, вещей необъяснимых, но ставших частью русского бытия, что, собственно, и отличает нас от них. Марта же удивлялась тому, как иррационально устроена русская жизнь. Вот рядом с ней едет симпатичный парень, который, живя в России, зачем-то разбирает и собирает автомат, а оказавшись в Мюнхене, так же необъяснимо стремится в неосвещаемый парк. Такого рода вещи, думалось Марте, будут всегда стоять между нами. Это как то, что она блондинка, а он шатен, – это не вытравляется, потому что сидит на генетическом уровне.

В одной из следующих поездок Юрий заметил, что в русской армии много бессмысленного. Он рассказал о том, как перед приездом армейского начальства солдат заставляли пришивать опавшие листья к веткам и красить их зеленой краской. “Зачем?” – спросила Марта. “Затем, – ответил Юрий, – что повсюду осень, а в воинской части – лето”. Отпустив на мгновение руль, Марта развела руками как человек, которого уже трудно удивить. Пришивания листьев своими глазами Юрий хотя и не видел, но слышал о нем от армейских “дедов”. То, что он действительно видел (например, сало в манной каше), было не менее удивительным, но каким-то совсем уж неаппетитным.

Немецкую лексику Юрий впитывал как губка, и его возможности воспринимать и выражать действительность по-немецки росли не по дням, а по часам. Теперь Марта расска-

зывала ему не только о Мюнхене, но и о своих летних поездках с родителями. О том, как лежала в Сорренто на черном вулканическом песке, о катании на лыжах под Инсбруком и о посещении Диснейленда под Парижем. Описывала, как всем классом собирали деньги на немецкие книги для детей Зимбабве, как, купив книги, распределили их по десяти посылкам, причем в каждую посылку вложили еще по несколько плиток шоколада. Дети Зимбабве (печальная трель велосипедного звонка) им так и не ответили.

Юрий в свою очередь рассказывал о посадке деревьев на школьных субботниках (ни одно не принялось), о работе в стройотряде после первого курса и песнях у костра. Гитару в какой-то момент положили близко к огню, и никто не заметил, как она загорелась. Они с ребятами сидели и слушали звуки лопающихся струн. “Как у Чехова...” – задумчиво сказала Марта.

Однажды Юрий описал ей, как, вооружившись цепями, ездили они с ребятами под Челябинск бить торговцев наркотой. “Зачем – бить?” – спросила Марта. “Так ведь наркотой торгуют...” – “А полиция зачем?” – “Какая полиция... Полиция с ними в доле”. Они остановились на красный свет, и Марта повернулась к нему. Произнесла еще медленнее, чем обычно: “В этом, знаешь, разница между нами и вами. Такие вещи должна делать только полиция”.

Успехи Юрия в немецком поражали всех. Над ним уже давно никто не смеялся – наоборот, перед занятиями про-

сили просмотреть домашнее задание. Русский акцент Юрия таял на глазах. Его “р” стало образцовым – оно переливалось где-то в глубине горла и вызывало зависть всей группы. Еще одну произошедшую с Юрием перемену заметила только Марта: он перестал ездить через Английский сад. Теперь их пути полностью совпадали. Юрий провожал Марту до самого ее дома, а потом ехал к своему общежитию, до которого было еще минут пять.

Стремительное продвижение Юрия в изучении языка произвело на Марту самое глубокое впечатление. Такой ученик требовал, безусловно, особого внимания, и оно (это отметила вся группа) было проявлено. Всё чаще Марта подходила к столу Юрия, предлагая ему ответить на вопрос, вызывавший затруднения у всех остальных. Иногда ставила ногу на перекладину его стула, и ее колено оказывалось у самого лица Юрия. Отвечал он всегда правильно.

Узнав, что Юрий некрещеный, Марта неожиданно для себя предложила ему креститься. К ее удивлению, Юрий не возражал. Через месяц после этого разговора он был крещен в католической Театинеркирхе, мимо которой они ездили каждый день. В день крещения в храме присутствовала вся группа. По удачному стечению обстоятельств разговорной темой недели была “Религия”, и на занятиях Юрино крещение обсуждали во всех деталях.

В один из бесснежных зимних вечеров, садясь на велосипед, Марта сказала: “Сегодня я хочу проехать через Англий-

ский сад”. На вялый вопрос, зачем ей это нужно, девушка ответила: “В спокойном Мюнхене мне не хватает риска. Вероятно, я стала немного русской”. На поездку по парку ее спутник, конечно же, согласился.

Когда свернули в парк, Юрий поехал впереди. Он знал здесь каждую тропинку и показывал дорогу. Марта тоже неплохо знала парк, но знала его дневным, а ночью он казался ей незнакомым и пугающим. Это был ненастоящий и приятный страх, потому что впереди, в метре от нее, краснел задний огонек велосипеда Юрия. Этот огонек вел Марту за собой.

Внезапно он погас – одновременно с передним светом. “Генератор, – пробормотал Юрий, останавливаясь. – Придется вам ехать впереди”. На весь безграничный парк галогеновая лампочка Марты была единственным светом. Теперь впереди ехала Марта. И хотя она знала, что след в след за ней едет Юрий, прежнего умиротворения уже не чувствовала. Вслушивалась во влажный шепот дороги под шинами, в чмокание рассекаемой лужи (мгновение спустя такое же – из-под велосипеда Юрия), и всё это не прибавляло ей спокойствия. Прибавляло тревоги и неуютта того, за чьей спиной едет кто-то не вполне знакомый. В самом деле, насколько хорошо она знала Юрия? И почему это у него так внезапно исчез свет? Потому что – сама же отвечала – всё на свете происходит внезапно. И что, спрашивается, он мог с ней здесь сделать? Незаметно поворачивала голову. Что-то

определенно мог...

Марта едва не налетела на двух стоявших на дороге людей. В первый момент она их не заметила. Резко тормозя, почувствовала, как заднего крыла ее велосипеда коснулся велосипед Юрия. Стоявшие уступать дорогу не собирались. Когда один из них взял с багажника сумку Марты, стало понятно, что это грабеж. В руках второго блеснул нож, но держал он его как-то неубедительно. У Марты даже мелькнуло в голове, что настоящий грабитель должен держать нож по-другому.

Порывшись в сумке, тот, что без ножа, нашел кошелек и достал из него несколько купюр. Не торопясь, засунул их в карман джинсов. Кошелек вернул в сумку, сумку положил на багажник. Обратился к Юрию: “Деньги, быстро”. В свете фонаря Марта видела лицо Юрия – на нем отражалась скорее задумчивость, чем страх. Юрий, поколебавшись, достал кошелек и отдал грабителю. Там была только какая-то мелочь. “Мобильники”, – сказал тот, что с ножом. Из отображенных мобильных его товарищ вынул сим-карты и вернул владельцам: “Будете звонить”. Нож дважды блеснул над велосипедами, и колеса со свистом сдулись. Сделав шаг к обочине, грабители исчезли.

Какое-то время Марта и Юрий катили свои велосипеды молча. “Это наркоманы, – нарушила тишину Марта. – Вы видели, как у этого типа дрожал в руке нож?” – “Им явно на дозу не хватало”, – подтвердил Юрий. Когда они вышли из парка на улицу, Марта сказала: “И правильно, что вы никак

не стали им препятствовать”. Юрию показалось, что в этих словах промелькнул оттенок разочарования. Он бросил на Марту быстрый взгляд, но ничего такого на ее лице не заметил. “В таких случаях разумнее уступить, – продолжала Марта. – А завтра мы напишем заявление в полицию”. – “Да, – согласился Юрий, – пусть этим делом занимается полиция”.

Через два месяца они обвенчались.

Никогда не кормите и не трогайте пеликанов

Андрей Аствацатуров

Герману Садулаеву

Возле карты

– Здесь, наверное, красиво, – произносит Катя и тянется ко мне губами. В ее голосе я различаю тревогу. Всю дорогу от метро Черинг-Кросс она молчала. – И ветра нет. А ты, кстати, молодец.

Интересно, а почему я сейчас “молодец”? Потому, что привел ее сюда, где “наверное, красиво” и “нет ветра”, или все-таки потому, что с утра позанимался с ней любовью? Лучше не уточнять. Себе дороже. Еще психанет, разорется, как обычно. Я отвечаю коротким поцелуем.

Несколько минут назад мы свернули с Уайтхолл, быстро прошли под арку, мимо кавалеристов, парадно гарцующих в своих красных мундирах, мимо понурых хасидов, задумавшихся возле лотка с уцененными сувенирами, мимо двух панков, кажется, разнополых, разукрашенных по моде восьмидесятых, потом пересекли пустую площадь, по кото-

рой потерянно, как бездомные собаки, бродили тощие туристы-азиаты, и, наконец, зайдя в парк, мы встали у огромной зеленой карты.

– Главное сейчас – чтобы дождь не начался, – сообщил я глубокомысленно и сразу ощутил неловкость произнесенного. – Все-таки, знаешь, зима.

– Не начнется, – улыбается Катя и показывает на карту: – Смотри, вот мы где.

Она ловит мой взгляд, прижимается ко мне, и я уже в который раз чувствую под этим красным коротким пальто, ловко перехваченным по парижской моде узким поясом, тяжесть ее теплого, сильного тела.

Ванна

Утром она лежала в ванне, я вошел, присел на край и принялся любоваться ее ровными, длинными ногами, ее высокой грудью, гладко выбритым межножьем, ее глазами, лениво полужакрытыми, ее губами, расплюснутыми, будто приклеенными. В воде ее тело показалось мне тяжелым и в то же время невесомым. Мне всегда нравилось его разглядывать. В нем проступала какая-то слепая и неуправляемая воля. Оно как будто скручивало, корежило у меня в голове привычные мысли и ощущения, сводило на нет всё то, чему меня учили, все те плоские смыслы, старые и новые, которые мне забили в голову еще в школе как гвозди. Я чувствовал, что это тело

меня обнуляло, превращало даже не в животное, не в растение, а в немой камень, в голем, зачем-то заставляло делать то, что я вовсе не хотел делать, произносить слова, которые я вовсе не хотел произносить, куда-то бежать, ехать, лететь, плыть.

– У тебя, когда ты в ванне, – сказал я, – удивительно бесстыжий вид.

– Отвернись! – она вяло рассмеялась и прикрыла руками низ живота. – К твоему сведению, сладенький, у каждого, кто принимает ванну, такой вот бесстыжий вид.

– У тебя особенно.

– Блин, ты отвернешься или нет?! – Катя плеснула в меня водой. Я поднялся.

– Ладно... пока...

– Чё “пока”? Чё щас за отстой?! Я сказала “отвернулся”, а не “ушел”. Уши есть? Стопэ, пешеход! Вот так. Поддай-ка полотенце, вот что... Щас будешь меня вытирать.

В парке

Узкая асфальтированная дорожка, вся в каменной крошке, аккуратно огибаает нагромождение клумб и выводит нас к вытянутому водоему. Берега огорожены металлическим заборчиком, вода мутная, чуть зеленоватого цвета. Прямо посреди водоема взлетает вверх фонтан – ветер в разные стороны разносит капли, брызгая на птиц, пригревшихся у бе-

рега. А тут и в самом деле очень красиво.

– Слушай, сладенький, как этот парк называется?

– Сент-Джеймский...

– Ну, да... точно... А раньше чё тут было? Давай присядем, люблю смотреть на воду.

Катя тянет меня к деревянной скамейке.

– Раньше? Катя, пусти, – я пытаюсь сосредоточиться. – Раньше тут вроде был канал, длинный канал, очень длинный. Вот...

Мы садимся на скамейку, начинаем разглядывать воду, подернутую рябью, низкое небо, затянутое облаками, и Катя достает сигареты.

– А до этого, – я возвращаюсь к разговору, – тут были болота и текла река. Тайберн, кажется... Я не помню точно. Убери, пожалуйста, сигареты. Здесь нельзя...

– Оки.

Надо же. С первого раза послушалась. Что это с ней вдруг? Обычно она говорит в таких случаях “а мне пофиг” или “мне можно”. Странно. Сидит, задумалась о чем-то, меня не слушает. Ладно, пусть сидит... А то очнется – раскритичится, нахамит, потом через секунду целоваться полезет... Какая-то тревога в ней поселилась, как только мы сюда вошли. И парик этот... Зачем ей парик? Но ничего, черный такой, смотрится хорошо с ее красным пальто...

Ночной звонок

Ровно неделю назад в моей квартире среди ночи раздался телефонный звонок. Громкий и резкий. Ночью все звуки кажутся громкими и резкими, а телефонные звонки – особенно. Я вскочил с постели как ошпаренный и бросился к телефону: ночные звонки обычно не предвещают ничего хорошего.

– Это ты? – в трубке я услышал Катин голос. Громкий и резкий, как телефонный звонок.

– Да, – я попытался спросонья сосредоточиться. – Катя, ты это... знаешь хоть, который сейчас час?

– Значит, так, – сказала она, проигнорировав мой вопрос. – Послезавтра ты летишь в Лондон. Понял? Раньше меня там будешь, понял? Я прилечу позже из Парижа...

Откровенно говоря, я еще не проснулся окончательно и ничего не мог понять. Какой Лондон? Зачем? У меня и денег-то нет ни на какие лондоны.

– Как это “в Лондон”?

– Блин, сладенький, ну как в Лондон обычно летают? Верхом на крыльях любви, на гриффоне, а еще на бочке с порохом, когда тупят. – Последние слова она произнесла очень сердито.

Я начал понемногу соображать, стал бормотать, что это всё нехстати, и еще что-то совсем маловразумительное, но

она меня перебила:

– Слышь? Хватит! Давай ты потупишь в другой раз, ладно? Ты потупишь – я посмеюсь... Сейчас просто времени нет. Господи, откуда ты такой взялся на мою голову?

Тут я наконец собрался с мыслями и сказал, что ей все-таки придется меня выслушать. Во-первых...

– Ты лучше скажи, визу ты сделал, как я тебя просила?

Визу я сделал.

– Отлично... За билетами зайдешь в турфирму на Загородном. Пиши адрес.

Я сказал, что не могу лететь, что у меня работа, статьи...

– В жопу твою работу! – отрезала Катя. – И статьи туда же... Отпуск возьмешь, понял? За свой счет или что там у вас? Хочешь, я позвоню твоему, как там у вас называется... декану?

Я подумал, что этого мне как раз не хватало для полного счастья – работу потерять, а вслух сказал, придав голосу равнодушие, что, наверное, не обязательно, что я сам разберусь.

– Тогда пиши адрес... – велела она.

Я спросил, что все-таки случилось, почему такая срочность, а сам про себя решил: это потому, что Гвоздев с ней уже поговорил. Я ведь его попросил – блин, как же это глупо, подумал я в тот момент, стоя голыми ногами на холодном полу, – сказать

Кате при случае, ненавязчиво, если, конечно, случайно встретит ее в Париже, специально звонить не надо, что я ее

люблю, что хотел бы как-то всё окончательно расставить на свои места, что готов за ней куда угодно, просто сам не решаюсь... Гвоздев еще тогда сказал, что, мол, “спокуха, хрящ”, и пообещал всё устроить “в лучшем виде”. Значит, подумал я, раз она позвонила, Гвоздев все-таки с ней поговорил...

– Пиши, говорю, адрес, чего ты там опять затупил? – подала в телефоне голос Катя.

Вот так я оказался в Лондоне. Всё организовалось лучше некуда, почти без моего участия. За последние годы я привык, что ничего не решаю, что всё происходит само собой, что меня куда-то берут на работу, потом увольняют, куда-то толкают, везут, тащат, уносят в салонах автомобилей, автобусов, троллейбусов, электричек, поездов дальнего следования, боингов, женят на себе, потом прогоняют восвояси, безо всяких объяснений. Стоя ночью в темной квартире с телефоном, прижатым к уху, голые ноги отчаянно мерзли на холодном полу, я вдруг отчетливо осознал, что есть какой-то скрытый замысел в природе, в судьбе, что он не имеет отношения к моим покорным чувствам, мыслям, к моей душе, ежели таковая вдруг сыщется, но он так настойчив и никогда не оставит меня в покое.

Парк-лепрозорий

– Катя, всё хорошо?

– Всё хорошо, сладенький. Слушай, посиди тут, а я пока – в туалет... Это ресторан, да?

Я киваю.

Она исчезает за дверью. Интересно, чем там кормят, в этом ресторане, куда она пошла. А что наливают? Лучше пока не надо. Катя терпеть не может, когда я...

Я разглядываю пруд, бывший когда-то каналом, а прежде – рекой. Впереди из воды торчит небольшой остров, похожий на зеленую шайбу. Мне приходят в голову разные мысли о том прежнем хаосе, который когда-то здесь правил. Судя по всему, Сент-Джеймский парк давно уже похоронил этот хаос. Никаких следов той прежней пустоши, тех комариных болот, заваленных гнилыми деревьями, той мрачной реки с раскисшими берегами, заросшими мелким, царапающим ноги кустарником. Теперь здесь уже не слышно зловещего уханья ночных сов, от которого замирало сердце. Вокруг – дорожки, лужайки, трава, даже не трава, а так – травка и мирное побрякиванье водоплавающих. Тут, говорю я себе, она стояла, эта самая больница, может, даже на месте ресторана. Сюда их как раз и свозили со всего Лондона, всех этих прокаженных, неприкасаемых. Их словно заживо хоронили. Обряд смерти совершали как положено.

– Тебя больше нет среди живых! – слышала Каждая. Теперь она была уже для всех не матерью, не сестрой, не дочерью, а отвратительной человеческой оболочкой, просто телом, которого с каждым днем становилось всё меньше.

Болезнь работала исправно, без выходных, наполняя плоть этих женщин нестерпимой болью. Корежила лицо, забира-лась во внутренности, скручивала сухожилия, остервенело грызла пальцы рук и ног, носы, ушные раковины, выдавли-вала глаза. Иногда их жалели и кидали издали еду, как сей-час, в этом парке, ее кидают птицам. Оставалось лишь бро-дить бледной тенью, призраком в этом безвременье, между жизнью и смертью на человеческой помойке, где стократ ху-же, чем в той пропасти, куда Вседержитель низверг Сатану. Зато Европа стала выглядеть лучше, гигиеничнее...

А потом всё закончилось. Так же внезапно, как и нача-лось. Болезнь ушла, прихватив последних пациентов, и ко-роль велел осушить болота. Осушили. А на месте лепрозо-рия поставили зверинец. С верблюдом, крокодилом и сло-ном. Видно, затем, чтобы показать, какой диковинной внеш-ностью Вседержитель иной раз наделяет земных тварей. Мо-жет, она им и в наказание, как тут было раньше, но зато те-перь со смехом, без погребальных шествий *A LUME SPENTO* и могильных стонов.

Мне вспоминается, что другой король, сменивший перво-го, зверинец упразднил и устроил тут охотничьи угожья. Так, кажется? Гонялся, наверное, за оленями. Методично убивал их. Туши торжественно предъявлял именитым гостям. Но хаос здешних мест как-то сам собой уже шел на убыль, и вот король, восхитившийся Версалем, разбил здесь парк. Стро-гий, аккуратный, почти французский. И человеческий поря-

док наконец восторжествовал. Нынче здесь мало что напоминает о той речке с раскисшими берегами, о пустоши с комариными болотами, о страдалищах, пораженных проказой. Разве что ивы, склонившие к воде спутанные ветви, как плакальщицы, да странная тревога, которая невольно поселяется в человеке, когда он сидит и подолгу смотрит на воду.

Катя присаживается рядом.

– Ты как? – спрашиваю. – Всё в порядке?

– Норм, а чё мне сделается?

Мимо нас проходит группа итальянцев. Чернявый, низкорослый гид суетится, что-то громко кричит. Его подопечные весело смеются. Мне вдруг хочется сделать Кате приятное.

– Слушай, – говорю, – тут продаются очень вкусные вафли. Прямо за углом. Огромные такие. Хочешь попробовать?

– Вафли? – Катя закатывает глаза. – Ты чё, сладенький? Совсем уже? У меня попа и так ни в одни джинсы не влазит...

– Ладно, проехали.

– Куда проехали?! – вдруг взрывается она. – Чё опять за отстой? Чё проехали? Ты должен был сказать: любимая, у тебя нормальная попа. Понятно?

– Любимая, у тебя нормальная попа.

– Вот так... Давай-ка вставай... Хватит уже сидеть.

Катя часто бывает грубой. Сегодня она в аэропорту уже отличилась. Нахамила этому профессору. А ведь он – под-

лый на самом деле и найдет способ мне напакостить.

– Он же все-таки пожилой человек, – упрекнул я ее. – Давай его лучше пригласим в кафе, покормим.

– Щаззз, – коротко бросила она.

В аэропорту

Я стоял у металлической ограды вместе с другими встречающими и ждал, когда она выйдет. Самолет из Парижа уже полчаса как совершил посадку. Люди выходили группами, поодиночке, молодые, пожилые, мужчины, женщины, белые, черные, азиаты, с чемоданами, с большими сумками на плече, некоторые налегке. И у всех на лицах было одно и то же выражение. Я его всегда замечал у людей, садящихся в самолет. Выражение растерянности и одновременно сосредоточенности. Оно появляется, едва ты заходишь в аэропорт, и исчезает лишь тогда, когда, прилетев в место назначения, ты усаживаешься в такси. Эта сосредоточенная рассеянность рождается странным чувством, думал я, которым аэропорт постепенно тебя заражает, прямо со стойки регистрации, где ты сдаешь багаж и получаешь заветный посадочный талон. Будто ты кому-то перепоручил свою жизнь, будто что-то для тебя уже закончилось, а новое еще не началось и неизвестно, начнется ли. А вокруг кафе, рестораны, магазины, аптеки выставляют напоказ свою продукцию, предлагая тебе ее купить и оставить здесь, на земле, лишние деньги: тебе уже,

может, они и не понадобятся, как знать, а нам пригодятся. И люди покупают, отдают деньги, унося с собой память о великом городе, спрятанную в сувенирах, в бутылках с алко-голем, в склянках с парфюмерией.

Чтобы не смотреть на людей, я принялся разглядывать зал терминала. Аэропорты, как сказал один градостроитель, бывают либо слишком большие, либо слишком маленькие. Этот показался мне слишком уж большим, как квартал густонаселенного города, спрятавшегося, правда, под пластиковым сводом. Тут не было никаких тайн, всё было выставлено напоказ, всё было обнажено, всё, решительно всё, рейки, подвески, крепления, провода – всё говорило о человеческих усилиях и о собственной рукотворности. Конструкцию свода поддерживали тянущиеся из углов длинные белые трубы, напоминавшие кошмарные паучьи лапы. Лампы распространяли странный электрический полумрак, в котором, как в паутине, копошились человеческие существа.

Я вдруг поймал себя на ощущении, что здесь, несмотря на столпотворение, как будто никого нет. Чтобы отвлечься, я начал думать о Кате, о том, как она сейчас выйдет ко мне навстречу, улыбаясь своей неприличной улыбкой, о том, как я прошепчу ей привычные бесстыжие слова, а она ответит, что скучала. Интересно, подумал я, а Гвоздев сказал ей или нет? Наверное, забыл... Псих чертов. А ведь обещал...

Пожилой человек

– Вас же просили меня не встречать! – взвизгнул возле моего уха хриплый старческий голос. Я дернулся от неожиданности и обернулся. Передо мной стоял коротконогий пожилой мужчина в синем пуховике. Позади себя он держал за ручку маленький чемоданчик на колесах.

– Что, простите? – не понял я.

– Просил же, несколько раз просил – меня не встречать! – повторил с напором мужчина.

Я подумал, это какой-то сумасшедший. Но мужчина выглядел вполне вменяемым, даже благообразным, хотя и немного комичным, со всех сторон каким-то коротким, похожим на обрубок. У него почти не было шеи, и маленькая голова казалась будто вылупившейся из туловища. Короткая седая стрижка, короткая кабанья щетина на щеках, вокруг рта, под подбородком. Короткий мясистый нос, на котором плотно сидели металлические очки. Вроде я его видел где-то.

– Я же просил! – возмутился мужчина. Он достал из кармана платок и вытер пот со лба.

– Ас чего это вы взяли, что я именно вас встречаю?

И тут я вдруг понял, “с чего”. Нас когда-то познакомили, очень давно. Мне еще сказали, что он уехал из СССР в восьмидесятые и теперь работает в каком-то европейском кол-

ледже. Помню, на его доклад в Москве сбежались все наши филологи, правда, исключительно те, кто мечтал уехать за границу, – он работал экспертом, в нескольких комиссиях по найму. Фамилию этого профессора я забыл. Вспомнил только, что она звучала уменьшительно-ласкательно, как вид грызунов, и очень ему подходила. Наверное, он сюда прилетел с лекцией, увидел знакомое лицо и решил, что его встречают.

– Я же специально звонил в ваш фонд! – продолжал профессор. – Сказал, что сам доберусь.

Он спрятал платок в карман.

И тут я наконец увидел Катю. Она шла мне навстречу ровной, уверенной походкой и тянула за собой свой малиновый чемодан. На ней было красное пальто и почему-то черный парик. Я не успел подумать, зачем ей понадобилось надевать этот чертов парик, как профессор встрял опять:

– Вы что, меня не слышите?

– Я не вас встречаю, – ответил я сухо и нетерпеливо. –

Проходите...

Тут подошла Катя.

– Привет, сладенький. Она подставила щеку для поцелуя.

Щека оказалась холодной. – Дай-ка я на тебя посмотрю.

– Еще раз повторяю, – вмешался профессор, – мне не нужно никаких провожатых! Езжайте по своим делам.

(“Да что ж ты никак не уйдешь-то... ”)

Я прижался к ней, подумал, он сейчас всё сам поймет, и

тотчас же почувствовал желание. Мимо нас прошли люди, и кто-то задел меня сумкой.

– Это еще что за debil?! – Катя отстранилась и кивнула головой в сторону профессора.

(“Блин. Началось...”)

Я виновато поглядел на него, мол, извините, не могу с ней совладать, растерянно улыбнулся и развел руками.

– Чё ему от тебя надо? – прищурилась Катя и, повернувшись к профессору, прикрикнула: – А ну, брысь отсюда!

Тот сделал вид, что не расслышал, повернул, как пеликан, голову почти на 180 градусов, куда-то назад к чемодану, подтянул его к себе, забормотал что-то под нос. Катя тут же про него забыла.

– На, бери, – она сунула мне ручку от чемодана. – Пойдем скорее. Я соскучилась и очень хочу.

“Так ему и надо”, – подумал я, а вслух сказал:

– Он же все-таки пожилой человек. Давай его лучше пригласим в кафе, покормим.

– Щаззз, – коротко бросила она.

Снова в парке

В парке, по которому мы гуляем уже час, полно людей, и мне снова, как давеча в аэропорту, кажется, что на самом деле никого вокруг нет. Хотя вот, пожалуйста, по асфальтовым дорожкам, аккуратно огибающим пустые газоны,

двигаются туристы: семянят крикливой толпой низкорослые азиаты, строго вышагивают высоченные скандинавы, проходят, пританцовывая и отчаянно жестикулируя, поджарые итальянцы и испанцы, привозящие сюда, в сырой английский климат, жар Средиземноморья. Но ни с кем из них, думаю я, не столкнешься. Каждый в своей собственной, только ему отведенной геометрии. Но я вижу вовсе не их и не водоплавающих, высокомерно клянчащих подачку. Я вижу пространство между ними, засасывающую мягкую пустоту. Ее здесь больше, чем всего остального.

– Пусто тут как-то, – замечает Катя.

Я молча киваю.

Сент-Джеймский парк аккуратно расстелен как поле для гольфа. Он лежит словно женщина, раскинув во все стороны газоны, открываясь настежь, ожидая, когда мы наполним его, измерим его своими телами, когда мы окунем свои прямые взгляды в зелень травы, в мутную воду пруда. Это останется без последствий, ведь в Сент-Джеймском парке всё теперь гигиенично, пространство и время вычищены, вымыты, свободны. Тут одни сплошные газоны и еще платаны, держащиеся на почтительном расстоянии друг от друга как английские джентльмены. Глазу достаются пустота и голая обозримость. Царство пустоты! Такое дано создать только тому народу, который сподобился провести два тысячелетия вдали от всех на острове, обмываемом со всех четырех сторон света морями.

Французы так бы не смогли. Они бы повсюду в правильном порядке понатыкали бы клумбы и обрубки деревьев. Видно, сначала так оно и было, но потом англичане здесь всё убрали. Клумбы сгребли в кучи, оттащили в углы, нагромоздили одну на другую, чтобы утвердить обозримость и защитить пустоту. В самом деле, свобода не может быть уделом случая, прихоти, внезапного поворота парковой дорожки. Она здесь выстрадана, спланирована. Она здесь следствие традиций, большой игры, законов, ограждений, парковых указателей. Мы останавливаемся возле высокого столбика с зелеными стрелками, глядящими в разные стороны, на которых белыми буквами написаны “*Westminster Abbey*”, “*Buckingham Palace*”, “*WC*”.

Запрещающих табличек совсем немного. А те, что есть, удивляют вежливой и увещательной интонацией:

PLEASE DO NOT FEED OR TOUCH PELICANS

– Правильно, – комментирует Катя, – а то долбанут куда-нибудь – мало не покажется. О чем это ты так задумался?

– Ни о чем...

– А я, – говорит она, – знаешь, почему-то вспомнила песню из фильма “Золушка”. Помнишь? Встаньте, дети, встаньте в круг... Там она потом поет: “жил на свете старый жук”.

– Ну и что?

– Как что? При чем тут дети?

– В смысле?

– Ну почему, если на свете жил какой-то старый сраный жук, дети обязаны вставать в круг? Где тут логика? А если бы жила молодая озабоченная стрекоза? Тогда что? Или пеликан? Тогда бы в шеренгу заставили выстроиться? Так, что ли?

Я рассмеялся.

За невысоким ограждением возле воды кипит пестрая птичья жизнь. В кустах, наверное, в поисках тех самых старых жуков копошатся утки, вдоль берега ковыляют жирные гуси с оранжевыми клювами, у ограды стоят какие-то водоплавающие аляповатого вида, будто наспех раскрашенные, безо всякого вкуса и воображения. Вездесущие голуби ведут себя скромно. Ходят, дергая маленькими головками, и дружно взлетают при малейшей тревоге. Чайки носятся в воздухе, то и дело поднимают истошные крики и принимаются драться из-за добычи. Вороны держатся поодаль, с достоинством, время от времени инспектируя длинными клювами мусорные корзины. Посреди пруда плавают два белых лебедя. Один вдруг начинает хлопать крыльями, разгоняется по воде, видно, затем, чтобы взлететь, но тут же успокаивается, складывает крылья, замирает.

– Хрен тебе! – проводив его взглядом, комментирует Катя.

Мне становится грустно от того, что вот он такой, большой, красивый, захотел и не смог.

“Gvozdev”

– Послушай, Андрюша, – она останавливается и поворачивается ко мне. – Я должна тебе кое-что сказать.

Я чувствую неприятный холодок во всем теле. В честь чего это я у нее вдруг “Андрюша”?

Катя становится передо мной и серьезно смотрит мне прямо в глаза.

– Я виделась с Леней Гвоздевым в Париже...

– О кей.

“Жил на свете старый жук”.

– Давай присядем.

Мы идем к деревянной скамейке. Как же тут всё добротно сделано. Особенно скамейки. Толстые рейки, массивные подлокотники. Не на века, конечно, но надолго. Значит, Гвоздев с ней все-таки поговорил. Садимся.

– У нас с ним всё было, – вдруг говорит Катя.

Как обухом. Я чувствую, что мне не хватает воздуха.

Оглядываюсь по сторонам

– Что было, Катя?

– Блин, слад... блин, всё было. Секс...

Несколько мгновений мы молчим. Понимание произнесенного приходит ко мне не сразу. В голове почему-то по-прежнему продолжает крутиться фраза “Жил на свете старый жук”.

– Случайно получилось, – добавляет она, поймав мой взгляд.

...

– Дай сигарету, – резко говорю я.

– Ой, ну, милый, ты же сам...

– Дай сигарету!

– Я просто не могу тебе врать...

– Ты дрянь! Понятно?! Просто мелкая дрянь!

– Кто?! – поднимает бровь Катя. – Ах, ну да, ну да... Дай я тебя обниму.

Я грубо отпихиваю ее.

– Блин, мне же больно... дурак, что ли...

Почему-то мне кажется, что каждый, кто проходит мимо, оборачивается в нашу сторону.

– Это всё не важно теперь, – говорит она. – Витю убили...

Я всё хотела тебе сказать...

(“Какого еще Витю? При чем тут Витя? Шлюха!”)

Достаю телефон и набираю Гвоздева. (“Дрянь, шлюха! Шлюхой родилась, шлюхой сдохнет!”)

– Ой, – морщится Катя, – ты кому это? Господи, случайно же вышло... Кому ты звонишь?

– С трех раз догадайся.

– А ну отдай!

Я снова резко отпихиваю ее.

– Блин, больно, сказала же...

– Здорово! – в трубке бодрый голос Гвоздева.

– Ты – урод! – кричу я ему. – Сволочь! Подлец!

Проходящие мимо люди оборачиваются на мои крики. Трубка некоторое время хранит молчание. Катя сидит, плотно сжав губы; у нее на глазах слезы.

– Подлец! – повторяю я и добавляю со злым ехидством: – Поговорил, значит, в лучшем виде?

– Старик... – неуверенно начинает Гвоздев.

Катя закрывает лицо руками.

– Положи трубку... пожалуйста... – стонет она.

– Я сейчас всё тебе объясню, – говорит Гвоздев.

– Что ты мне объяснишь? Когда ты, сволочь, переламывался, я тебе за молоком бегал, с ложечки тебя кормил!

Мой взгляд вдруг упирается в табличку: *“PLEASE DO NOT FEED OR TOUCH PELICANS”*.

Гвоздев замолкает на несколько секунд.

– Я всё сделал, как ты просил, – произносит он после недолгой паузы. В его голосе вдруг появляется воодушевление. – Сказал, что ты ее любишь, и всё такое... правда... Мы сидели у меня дома, бухали, и я ей, короче, это сказал. Ну а Катя, короче, разрыдалась от чувств, кинулась ко мне на шею, целовать стала... Ты же знаешь, она у тебя ого-го! Ну, короче, всё и случилось... чисто по пьяни...

Я молчу.

– Слушай, Андрюха, ну не обижайся. Хочешь, короче, приезжай и трахни мою Элку.

– Кого? – спрашиваю я машинально.

– Ну Элку, жену мою. А что? Она не против будет. Ты ей всегда нравился.

Старый жук. Я горько усмехаюсь и чувствую, что злость куда-то уходит. Даю отбой и сую телефон в карман. Катя с выражением пойманной птицы роется в кармане пальто, достает бумажный платок и вытирает слезы.

– Ты мне больно сделал...

Телефон начинает верещать. На мониторе высвечивается “Gvozdev”.

– Это Катя разболтала? – спрашивает голос Гвоздева. – Она рядом?

Я в ответ молчу.

– Сделай-ка громкую связь.

– Не командуй...

– Сделай, как друга прошу!

– Ладно, – я чувствую, что на самом деле больше не могу на него злиться.

– Катя! – кричит голос Гвоздева. – Ты тут?

– Тут, тут, – Катя шмыгает носом.

– Скажи ему, что это случайно, что мы, короче, не будем больше...

– Не будем, – покорно повторяет Катя, – и вообще было не очень.

– Было не очень, – с готовностью подхватывает Гвоздев из телефона.

– Слышь, Гвоздев, – вдруг свирепеет Катя. – Ты вообще

охренел?! Это мне было не очень, понятно?! Мне! Слышь, ты, шприц одноразовый!

Я нажимаю отмену громкой связи, выключаю у телефона питание и поднимаюсь.

Бывает, конечно, что трагедия превращается в мелодраму, тут уж ничего не поделаешь, но мелодрама не должна все-таки превращаться в балаган.

– Всё, хватит...

– Погоди...

– Катя, я, наверное, пойду.

– Погоди, – она решительно встает со скамейки, комкает платок и кидает его в урну.

– Ну прости, – она гладит меня по щеке. Я аккуратно отвожу ее руку.

– Прости, – повторяет она. – Ну хочешь, пойдем прямо сейчас в Хемпстед, в отель, я стринги одену... как ты любишь...

– Засунь их себе в задницу.

– Сладенький, – с укоризненной ухмылкой произносит Катя. – Ты будешь смеяться, но они для того и придуманы, чтобы их засовывать именно туда, куда ты сказал...

Я усмехаюсь и качаю головой.

– Видишь, ты уже не сердишься. Это правда случайно... Ну прости... Ну что мне сделать...

– Ладно, проехали.

– Ура! – Катя хлопает в ладоши. – Ой, а давай птиц по-

кормим, а? У меня с завтрака булка осталась.

У меня нет ни малейшего желания этого делать, но я за-чем-то всё равно иду с ней к ограде. Навстречу нам уже спешат голуби, утки, гуси, кружат чайки. Ощущая их жадность, я беру у Кати булку, разламываю ее на кусочки и начинаю бросать их через ограду. Гуси, утки, голуби кидаются в сторону от резких движений, и всё достается чайкам. Они стремительно налетают откуда-то сверху, с громкими криками подхватывают куски и уносятся прочь. Рядом со мной стоит Катя в своем красном пальто, в черном парике и улыбается. Возле нее – чьи-то дети, две светловолосые девочки лет пяти-шести. У них добрые глупые лица. Всё доброе, я давно уже заметил, выглядит почему-то глупым, а всё глупое – добрым. Готово. Начисто расхватали. Я отряхиваю с ладоней крошки. Спасибо, друзья. Получил массу благодарностей. Сверху покричали, снизу покрякали, похлопали крыльями. Даже ворон в отдалении сдержанно, но одобрительно каркнул.

Я чувствую, что все вещи и события сделались близкими, пустыми и встали вокруг меня привычным кругом, как дети из той песни про жука. Всё завертелось, и эти птицы, и чьи-то глаза, и платаны, и клумбы, и газоны, и светловолосые маленькие девочки, и Катя в своем красном пальто и черном парике. Я словно проснулся от долго сна и снова увидел плотные фигуры людей, которые будто вернулись из своих геометрий. Но их слишком мало, этих людей, хоть и много, и

сад всё равно кажется пустым, спокойным, забывшимся, забывшим прежние болезни и прежнюю боль. Зато мне теперь становится ясно, зачем я здесь стою с Катей, в этом парке.

Зачем я здесь

– Давай сейчас погуляем, поедим твои вафли, а потом – в отель, в Хемпстед, ладно? – предлагает Катя. У нее непривычно ласковый голос. – Там поужинаем, ну и, – она мне подмигивает, – всё остальное.

Мы идем по дорожке вдоль газонов в сторону королевского дворца, и вдруг меня осеняет:

– Как это – в Хемпстед? Мы же...

– Сладенький, пока ты курил на улице, я попросила перевезти наши вещи в другой отель. Это в Хемпстеде. Подальше от центра.

Я останавливаюсь и смотрю на нее с удивлением.

– Не хотела тебя пугать... Я сначала хотела, чтобы с комфортом, а потом поняла – нам лучше без комфорта, но где-нибудь подальше, где уж точно не найдут.

– Господи! Кто нас не найдет?

– Витю убили, понимаешь?

– Витю?

– Ой, я не могу... пойдём снова сядем.

В ее глазах вдруг мелькает какое-то дикое, новое для меня выражение. Я замечаю себе, что последний час мы только и

делаем, что садимся и встаем, встаем и садимся. С этим тут проблем нет: скамеек очень много.

– Господи, точно, ты же мне говорила.

– Садись...

Витя, Виктор Евгеньевич, был Катиним продюсером и одновременно официальным постоянным любовником. Бритый наголо, крепкий, по-крестьянски сбитый мужчина. Всегда в одной и той же кожаной куртке коричневого цвета. Я видел его всего два раза, один раз в Париже, в ресторане, но со спины и мельком, другой раз – в Москве.

– Он там что-то напутал, с какими-то проектами... – она закрывает лицо руками. – Я не знаю... Я в Париже сидела, мне позвонили, сказали – сердечная недостаточность.

– Так убили или сердечная недостаточность?

– Ладно, это долго объяснять. Я как узнала – сразу звонить кинулась, боялась, что к тебе придут.

– Ой, да кому я нужен?

– Мне...

– Ага, а еще тебе нужен Гвоздев.

Она отнимает от лица ладони, внимательно смотрит мне в глаза, а потом со всей силы залепляет мне пощечину. Хочет еще раз ударить, но я хватаю ее за руку.

– Ты чего?! Сдурела?!

Я в панике оглядываюсь. Рядом, слава богу, вокруг никого.

– А ничего...

– Ладно. Мы тут надолго?

– Не знаю, – хмурится она. – Может быть, навсегда.

Сокольники

Мария Голованивская

Зона обывательского счастья

Царство детских колясок, велосипедов, жужжащих теннисных мячей. Розовощеких мамаш, тетешкающих образцовых детишек. Воскресные прогулки всей семьей с сахарной ватой размером с купол кафедрального собора.

Колокольный звон смешивается с громкой попсой, на удивление мирным, первомайского толка, политическим блекотом из громкоговорителя, шелестом крыльев поднимающихся в небо птичьих стай, счастливым собачьим лаем. Сокольники – от Сокольнической площади, по центральной аллее к парку с прилегающими по обе стороны домами – сердце района, выдающее ежедневно и ежечасно импульсы нормального счастья для нормальных, семейственных, благонамеренных людей.

Порталы “Ребенок здоровье”, “Родим и вырастим”, “Ребенок до года”, “Рожаем семьями” и тому подобные имеют очевидную сокольническую привязку. Именно в Сокольниках приятельствующие молодые семьи рожают дружно, одновременно – первый, второй, третий пошел. По мэйлу или

телефону проговаривают совместные маршруты: “Вот второй раз покормлю и можно на прогулку Давайте в двенадцать у входа!” Гуляют колясочными кавалькадами. В первой половине дня на всех стежках и дорожках Сокольников и Сокольнического парка говорят о детском приросте, привесе, зубках, дисбактериозе и первых словечках, вскармливают хором, добавляя к своему молоку коллективные молекулы сокольнической здоровой жизни.

Здесь знакомятся открыто, не засоряя материнскую дружбу-солидарность принюхиванием и присматриванием. В Сокольниках же живем. На форумах пишут: “Так не терпится увидаться, познакомиться. Вот только у моего сопля пройдут...” – “А вдруг мы из окна сможем друг друга увидеть? У меня окна на бывший детский сад, который теперь гимназия”. – “Не-а, у меня окна во двор”. – “А жаль...”

Индустрия знакомств Москвы знает об особом статусе Сокольников. Подобрать оттуда будущую жену – удача. Там прекрасно вить гнездо, закладывая основы крепкой семьи. На сайте “Биг лав” нередко можно прочесть “Ищу женщину, чтобы жила поближе к Сокольникам”. Христианские объявления о знакомствах – есть и такой сайт, и такая служба – тоже особенно уважают Сокольники: там хорошо растут дети, уточняют они, и знаменитая церковь.

Подросшие детишки образуют сообщество. “Давайте кататься вместе!” (на роликах, коньках, велосипедах, лыжах) – объявления у подъездов и в Интернете. И потом уже во

взрослой жизни, как правило, корректной, неизломанной, после институтских учебников и умных дипломов сокольнические опознают друг друга по лыжному румянцу и здоровым привычкам.

– Где это, Сокольники? Где находятся на карте нашего города, которая у каждого в голове своя?

Выходишь из метро – площадь. Там пожарная каланча, красная, красивая, старинная, и при ней зданьице – и-я пожарная часть (рота), хмурные мужественные пожарники редко кажут нос за ворота.

Рядом “Макдоналдс” с пожарной тематикой во внутреннем убранстве: по стенам из красных жердочек своя каланча и в витринах пожарные каски, крюки и молотки. Дальше через улочку— коричнево-черный двадцатиэтажный монстр из стекла и бетона; лет двадцать строили гостиницу класса суперлюкс, за это время и строй в России поменялся, и стандарты гостиничного обслуживания, достроили наконец – страшную, никчемную. Зачем гостиница и гости, если в Сокольниках— все свои?

Если вернуться назад к метро, оказываешься на центральной аллее; ведет она к Сокольническому парку. По обе стороны шестнадцатиэтажные дома, позднесоветские, панельные, повышенной комфортности, бело-синие. В трешке, например, есть холл, все комнаты отдельные, две лоджии. Коридоры перед квартирами тоже просторные, со встроенными шкафами – есть куда деть и велосипед, и лыжи. Именно

в этих квартирах и протекает уютном мытая семейная жизнь, где у детей не только своя комната, но и своя лоджия. С видом на парк, на церковь, на “свой двор”.

Вдоль аллеи через бульварчик – “Мир кожи и меха” в Сокольниках (где одевают “быстро и модненько”), напротив – “Зенит”, мечта прогрессивных родителей: велосипеды, фотоаппараты, надувные лодки, приبلуды для охоты и дайвинга, охотничьи принадлежности. Но главное велосипедное царство— известный на всю Москву велорынок – находится в аккурат под “кожей и мехом”. Нырнешь прямо с Сокольнической площади в неприметный проход и оказываешься в огромном и извилистом подземелье, где тысячи велосипедов всех цветов и размеров, с кривыми рожками рулей, прямоугольными сидениями, сверкающими во тьме педалями и колесами, пневматическими насосами. А зеркала, а перчатки, а ручки для переключения скоростей... Это вечное велосипедное кручение и верчение – главный сокольнический свинг. Движение, движение, воздух, воздух, какое бы время года ни стояло за окном и как бы ни гадила – а она имеет такое обыкновение – московская погода.

Выходишь из велосипедного подземелья прямо – к храму Воскресения Христова. Окликает нищая, огромная женщина с раздутой ногой, разговаривает строго: “Помоги чем можешь, потому что ты моего горя не знаешь”.

В церкви на всякий вопрос отвечают буклетом. Есть дела поважнее, чем языком чесать, и спрос превышает предло-

жение. Крестины, освящение, причащение – запись огромная, похлеще, чем в модный парикмахерский салон. От этого и власть, и деньги, и уверенность в завтрашнем дне. Но не только это. Каждое утро к церкви приезжают кортежи телесериальных богачей, молчаливой толпой направляющихся в церковь – молиться. Они ставят свечи иконе Трифона – покровителю удачи и защитнику российского бизнеса.

Сурово в церкви, да весело в парке. Выставки кошек и собак, катание верхом, аттракционы и клоуны, катки и корты! Среди сокольнических увеселений и утех есть и политик федерального масштаба. Однажды Жириновский – выходец из здешних мест – во время одного из праздников раздал прогуливающимся детям пятьсот эскимо. В другой раз во время посещения выставки Зооэкспо он же приобрел желтоглазого котенка по кличке *Wong Winner of Burmau*, а затем и птичью пару— курицу и петуха японской породы “карликовый феникс”. Жириновский в Сокольниках на себя не похож: душка, пацифист, мир во всем мире, не допустим больше революции! Легким путем идет Владимир Вольфович!

Не только теперь, но и всегда была здесь хорошая, веселая, приятная жизнь. До сих пор в парке стоят старые дачные фундаменты, виден местами выходящий на поверхность водопровод позапрошлого века, старинные чугунные роскошные водосточные люки, на которых годы начинаются с тысяча восемьсот...

Лет пятьсот назад здесь располагались егерские поселе-

ния, особенно мастерски охотящиеся с соколами. Охота тут была роскошная и во всех смыслах – царская. С местными сокольниками в местных лесах охотились Иван Грозный и Алексей Михайлович. Название и местности, и парка от дворцовой слободы соколиных охотников – сокольников. Пышно и пьяно – с оркестрами, с винными фонтанами, шатрами, фейерверками и раздачей сластей народу – гуляли здесь и Елизавета Петровна, и Екатерина Великая, и внук ее Александр I.

Этот лесной массив включили в Москву только в конце XIX века как окраину и приписали к 20-й (последней в территориальном списке) полицейской части.

Здесь же казенная дача московского генерал-губернатора Ростопчина. Говорят, что он сжег ее со всем имуществом, едва Наполеон вошел в Москву, “повторив подвиг Нерона”. С сороковых годов XIX века вслед за московским начальством сюда потянулся и весь городской истеблишмент, тоже чтобы быть поближе к “золотому телу”, – такие были сумерки природы, флейты голос нежный, поздние катанья. Здесь гуляли с меценатским размахом, улицам раздавали имена владельцев дач, в парке разбили театр, где выступал и Собинов, и – позже – Прокофьев. Парк писали и Левитан (“Осенний день. Сокольники”), и Саврасов (“Лесная дорога в Сокольниках”), а Куприн запечатлел пожарную каланчу.

Сокольники часто изображались на дореволюционных открытках, гравюрах, на коробках конфет, что означает: здесь

находилось образцовое место для пристойного досуга.

Это выражалось и во внешнем облике Сокольников – дачные улицы застелили брусчаткой. Построили церковь. Уже в 1871 году пустили конку с Лубянки, в начале XX века – трамвай, парк освещался электрическими фонарями.

Летом продолжались дачные увеселения с иллюминированными купальнями и оркестрами, балами и маскарадами.

В конце XIX века сюда как в образцовое место подмосковного отдыха разрешили пускать всех. Рабочие облюбовали эти благоустроенные места под нелегальные собрания и сходки. Они всё чаще примыкали к здешним пышным майским гуляньям со своими маевками, далекими по смыслу и содержанию от празднования прихода весны. Кончилось тем, что здесь оказался и Ленин. Сначала выступал на митингах, а зимой 18–19 годов приехал навестить свою жену, Крупскую, которая восстанавливала здоровье в домике при лесной школе. Именно по этому адресу и происходила знаменитая елка в Сокольниках (6-й Лучевой просек, дом 21).

Дачи стали коммуналками. Жили по пять-шесть семей в одном доме, хаотично перестраивая былую роскошь. Разделяли комнаты дверцами от барских шкафов, укрепляя их спинками от рабоче-крестьянских кроватей. В некоторых дачах открывали клиники, дом для рожениц или школу для детей с отстающим умственным развитием. В 1926 году сокольническую дачу сняли Брики и Маяковский. Вспоминали об этом так: сад красивый, дача тесная. В общей комнате

– большой стол хорошего дерева, большой диван с кистями, большой рояль, черный большой бильярд. Жить зимой в Сокольниках было небезопасно, двери и окна толком не запирались, и на ночь к дверным ручкам привязывали стулья.

Эти нередко перестроенные двухэтажные дома с садиком оставались здесь до начала семидесятых. Их еще помнят нынешние жители, нередко отмечая, что в этих дворах жили ручные вороны – большие, умные, грустные птицы.

В таком домике жил, например, Лев Лещенко. Люди его поколения вспоминают, что шпаны в этом районе было видимо-невидимо, кишели, словно личинки моли на старом полушубке. Милиция прямо со школьных диктантов забирала в отделение, с собаками приходила в класс.

Попытка цивилизовать некогда роскошный дачный район была предпринята в 1935 году, когда здесь была открыта конечная станция первой линии Московского метрополитена.

Тогда же Сокольничья роща, где тогда свистали в основном соловьи-разбойники пролетарского происхождения, была преобразована в парк, и газеты с гордостью сообщали, что его территория – 600 га – в четыре раза больше знаменитого Гайд-парка. Многое тогда в парке называли на старинный манер: пруды поименовали Лебязьими, каскады – Оленьими. Как будто кто-то по-библейски распорядился – живите и размножайтесь. В парке стали назначать народные гуляния, позже возвели выставочный центр, понастроили школ и детских садиков.

Нынешние Сокольники как район обывательского счастья был воплощен в жизнь в начале восьмидесятых, и, кажется, капитализм не затронул образа мысли здешних жителей. Поэтому, наверное, здесь на шестьдесят тысяч населения сравнительно немного ресторанов и кафе, а по внешнему виду ничего особо не изменилось с советских времен и девяностых – разношерстные вывески, обменники на каждом углу, торговля из плохоньких киосков, бабушки у метро с рубиновой редиской и пучками укропа, одежда в магазинах простецкая и дешевая: не до фэшна и экшна в уютном и зеленом районе, где царят мамыши и трогательные младенческие улыбки.

Но были и другие Сокольники – мрачные и печальные, и тем самым только оттеняющие дух Сокольников радостных. Это Сокольники, что за каланчой, идущие к Яузе, говорят, самой грязной из московских рек. По распоряжению Петра I на берегу Яузы построили Хамовный двор – парусную фабрику, при ней была матросская слобода. В конце XVIII века здание фабрики отдали под Екатерининскую богадельню для матросов. Некоторые матросики уходили в разбой и из приюта отправлялись напрямиком в тюрьму, "Матросскую тишину"-2, откуда тоже ни о каких буйствах вестей не было. В районе было много больных и увечных. В XIX веке к этому колориту добавилась знаменитая туберкулезная клиника, к которой в двадцатые годы XX века – еще и клиника венерологическая. Райское местечко.

Сокольническое топонимическое сознание отрицает яузский узел. Спросишь на улице: а где тут у вас тюрьма? Не у нас, отвечают местные, это ближе, туда, к Преображенке. Не хотят они впускать этот мрачный мир в свою среду обитания. Зарождающиеся “здоровые” Сокольники как бы выпихнули из гнезда брата-уродца, отпихнули его за каланчу. Не случайно здесь же обосновался театр Романа Виктюка, в бывшем ДК им. Русакова, доме в форме трактора, именованном в честь революционера-стачечника.

По логике места совсем не удивительно, что томились именно здесь за толстыми тюремными стенами Ходорковский и Лебедев, Япончик и Тайванчик, – знаменитости, так и не разгадавшие простого рецепта честного обывательского счастья.

Ростки цивилизации

Александр Иличевский

*Весною сад повиснет на ветвях,
нарядным прахом приходя в сознание.
Уже вверху плывут воспоминанья
пустых небес о белых облаках.*

Иван Жданов

Исток

Впервые о саде как первом признаке зрелой цивилизации меня заставил задуматься один археолог. Однажды сплавились мы по Ахтубе в Трехречье. Дальше пошли в Ашулук по Мангуту и прибыли в Селитренное. Когда-то в окрестностях этого села добывалась аммонийная селитра: порох, дымивший над войсками шведов при Полтаве, брал начало именно отсюда. А еще раньше – в XIII веке – здесь простирался и высился Сарай-Бату, одна из столиц Золотой Орды, основанная чингизидами и питавшаяся товарами и налогами северной ветки Великого шелкового пути. Когда Тимур отрезал ее своим ужасающим неофитским нашествием, город в считанные годы опустел и был занесен песком. Сейчас во-

круг Селитренного об этом напоминают лишь раскопки, разбирающие средневековую свалку канувших гончарных производств, и заливные пастбища, утоптаные и выщипанные овцами до состояния изумрудных зеркал.

Мы причалили и побрели сквозь зной к раскопам. Археологи нас встретили пивом, добытым из прохладного шурфа, и Жереховым балыком.

В результате такой “встречи на Ахтубе” мы узнали, что в те времена, когда Лондон насчитывал шестьдесят тысяч жителей, а Париж – сорок, при том что оба города не имели канализации и водопровода, в Сарай-Бату насчитывалось сто двадцать, город тянулся вдоль реки на десять верст, высились дворцы и караван-сарай, здесь били фонтаны.

Но главное – тут располагались висячие сады, по роскоши своей не уступавшие, как гласит предание одного восторженного голландского купца, воздушным садам Семирамиды. И это при том что до Версальского сада, до сада Букингемского дворца, сада Тюильри и приступа дворцово-паркового зодчества у Людовика при строительстве Лувра было еще очень далеко.

Искусство японского сада начинается с первых храмовых садов, возделывавшихся монахами. Слива, вишня, глицинии, азалии, цепкий плющ. К IX веку появляется философско-живописная разновидность: сад камней – причудливой формы камни суть острова посреди океана из мелкого галеч-

ника и песка, расчесанного, как море волнами, с высоты птичьего полета – с высоты взгляда Творца.

Японский сад отчетливо олицетворяет природу или даже Вселенную. В качестве частей модели здесь содержится всё: горы, холмы, острова, ручьи и водопады, леса, кустарники, бамбук, злаки, травы, мхи. Беседки и чайные домики – места для медитации, в том числе церемониальной, располагаются в точках (вершинах) лучшего с точки зрения дзен-буддизма ракурса. Каждый уголок, каждая часть и взаиморасположение обладают выражением, находящимся в соответствии с риторикой уникальной связи души и мироздания, выработанной культурой.

А то, что сад живой, означает, что система, положенная в его основу, есть сущность саморазвивающаяся и не закосневшая, но при этом в каждое мгновение сохраняющая все пропорции, необходимые для кодификации системы воззрений японской философии.

У Вергилия прослеживается перемещение от тревожного пастушества к земледельческому покою. “Буколики”, сама мечта поэта об идиллической эпохе, возвещенной появлением на свет Золотого Младенца, есть предвидение царства Бога на земле – и представлялось оно поэту в виде земледельческой трудовой жизни.

Сад вбирает в себя взгляд на мироустройство того, кто его возделывает. Подобно тому как Вселенная оказывается дан-

ной нам в ощущении проекцией – “одеянием” Творца, несущим в целом образ и подобие своего Создателя, так и сады могут рассказать нам об устройстве своих творцов едва ли не больше, чем они могут сообщить о себе сами.

Всерьез прочувствовать, что такое садово-парковое искусство, мне пришлось в юности в Гатчине, знаменитом личном прибежище Павла I, известного печального фрика российской царской династии, робко, но упрямо пытавшегося внедрить, подобно своему деду, Петру Великому, ценности мировой цивилизации – в архаично отсталое общество своих подданных.

Почерневший в советское безвременье, искореженный разрухой дворец был заброшен, смотреть в нем было нечего, там не было даже паркета, а вот парк заморозил по мере погружения в него. Причем поначалу было неясно, парк ли это вообще или такой гостеприимный светлый лес с дорожками. Но сомнения рассеялись, когда деревья расступились и я вышел к небольшому холму, на вершине которого обнаружился аккуратный кратер и в нем живописный пруд, обрамленный рядом скамей.

Так я познакомился с английским парком, стиль которого определен не подчинением природы человеческому замыслу по преобразованию ландшафта, но соподчинением творческого начала человека природному замыслу Творца.

Гатчинский парк мне тогда, наверное, под влиянием образа угрюмого своего царственного создателя (взвинченного

отчаянной борьбой с силами хаоса с помощью утопических идей о порядке и страшившегося призраков – сгустков его страха перед архаикой, которые его в конце концов и погубили), показался моделью загробной жизни. Это было одновременно величественное и сумрачное ощущение.

В русской культуре мировой сад всерьез появляется усилиями Чехова. Сад Чехова и возы сушеной вишни, тянущиеся в направлении Москвы (гекатомба бутафорской крови, возы условных жертвоприношений, словно бы выкупающих из небытия своих владельцев, посланные в храм культуры, надежды, избавления – в столицу), выступают обычно в национальном сознании в роли символа ускользающего из судьбы освобождения – материального, душевного, климатического, духовного, какого угодно. Символа честного чистого труда и заслуженной награды.

Конечно, эти значения вполне справедливы. Но Чехов в корне амбивалентен, он лучше многих понимал, что художественный образ не может быть однозначным.

Вишневый сад сам по себе объект баснословный, мифический, и на эту не главную его черту указывают сведения о том, что впервые в Европе вишня появилась благодаря гурману и устройителю кулинарно-пиршественных оргий Лукуллу, привезшему ее из Персии. Главное же значение его, вишневого сада, смыслового облака в том, что цветущие вишни для героев пьесы оказываются пространством загробной жизни. И только это решает вопрос о возможности ее суще-

ствования вообще.

В “Черном монахе” – своего рода гимне проклятий в адрес провидения, стоящего за спиной художника не то с мечом, не то с пальмовой ветвью виктории, – тоже есть сад, но яблоневый, весь в цвету: в заморозки в полнолуние он окутан дымом костров, разведенных садовником, спасающим цвет и урожай.

Сады римских придворных – Саллюстия, Лукулла, известного больше как ценителя соловьиных язычков, чем как тот, кто подарил Европе вишню, – вошли в моду. Среди этих садов возникла и вилла императора Адриана, не отпускавшая его от себя на протяжении всего правления империей. Именно отсюда Адриан управлял захватом Британии и отдавал приказ о подавлении Великого Иудейского восстания. Возможно, здесь же, в этом саду, у пруда, отражающего окружающие холмы и пинии, он выслушал репликацию о разгроме странной еврейской секты, лидер которой был распят и, по слухам, воскрес, что стало, по сути, первой, еще доапостольской вестью о Спасителе.

Название библейской местности – Гефсимания – происходит от ивритского Гат Шманим, то есть “масличный пресс”: это местность у подножия Масличной горы (Елеонской, от “елея” – сакрального оливкового масла), в долине Кедрон, расположенной восточнее Старого города Иерусалима. Во времена Второго Храма так называлась вся долина, ниспа-

дающая с подножия

Масличной горы, на которой, по преданию, произойдет воскрешение после Страшного Суда. Здесь во времена Второго Храма произрастал обширный оливковый сад, часто использовавшийся как место молитвенных медитаций. В современном иудаизме эта традиция широко распространена до сих пор: каббалисты ценят ночное время и часто отводят его для мистического созерцания перед ликом луны, движущейся над хороводом деревьев. Цель этих медитаций может быть разной, но практическая суть одна: вслушивание в мироздание, попытка найти бессловесный ответ на краеугольные вопросы существования.

Гефсиманский сад, точнее, его остатки, состоящие из нескольких десятков древних олив, почитается христианами, потому что Иисус и его ученики часто приходили сюда для молитвенных бдений. Здесь же, согласно Евангелиям, в ночь предания в руки Понтия Пилата Христос молился, пытаясь получить ответ о своей участи и предназначении.

Оливы не растут в высоту. Старое дерево может достигать нескольких обхватов и похоже на приземистого великана, обладающего узловатым мускулистым торсом, чья удивительная корявость и складчатость почему-то напоминает огромный мозг. Он осенен скромной кроной и стоит среди камней вечности нерушимо и величественно, подобно живому алтарю.

Плоды мира

Сады – первый признак мирной жизни и, следовательно, цивилизации. Сад развернут во времени в будущее – на многолетний срок, куда более длительный, чем сезонные работы по возделыванию зерновых культур. Сад есть следующий этап в земледелии, означающий окончательную укорененность рода – в данной конкретной местности, выбранной для жизни путем проб и ошибок. Оседлая жизнь при поле и садах решительно противостоит кочевой обозной жизни, предназначенной захвату, обороне, бегству. Цивилизация способна удержаться и развиться во времени, только будучи сопряженной с оседлостью и созиданием.

Ветка оливы – символ мира: сбор оливок развернут во времени и трудоемок, что делает невозможным ведение войн, ибо обе противоборствующие стороны окажутся в результате перед лицом другого, куда более беспощадного и непобедимого врага – голода. Принесенная в стан противника ветка оливы символизировала предложение перемирия на время сбора урожая.

Переход к земледелию необъясним ни с точки зрения облегчения труда, ни с точки зрения экономической выгоды. Это первый опыт принципа “отложенного удовольствия”, лежащего в основе любого развития цивилизации. Первый опыт абстрактности усилий и целеполагания, основанного

на взаимодействии личности (ее развития, развернутости во времени) с волей сил природы. Первый опыт дисциплины, основы основ всякого искусства. Календарь возникает из сезонов земледелия, но не на основе сезонной миграции добычи охотников. Само по себе время произрастает из зерна. Мировое дерево – ствол времени, отсчитываемого отныне ростками цивилизаций, формируется земледельческими усилиями.

Сад для поэта символизирует сущность искусства. Художник возделывает свой клочок смыслов, как истинный земледелец, использующий гумус текстов, выращенных до него.

Переход к земледелию объяснить особенно невозможно, если учесть, что ведение сельского хозяйства обусловило увеличение труда и ухудшение качества пищи. До эпохи земледелия люди питались разнообразнее за счет охоты и собирательства, причем оба занятия были менее трудоемкими, чем земледелие, тем более интенсивное.

Охотники и собиратели обладали развитым интеллектом (тропа следопыта полна дедуктивных сцеплений) – в сравнении с земледельцами, погрязшими в тяжелом механическом труде, который до приручения тягловых животных был непереносим. Но главное – результат был удручающим: однообразная пища с низким содержанием белка и витаминов. Однако коллективно собранный урожай оказывался более обильным, нежели добыча, извлеченная с охотничьих уго-

дий. Земледелие, несмотря на все свои тяготы, значительно увеличило численный состав племен, а рост населения позволил общине высвободить для защиты от агрессии соседей людей и сформировать из них пограничные отряды. Умиротворенная оседлая жизнь земледельцев – в сравнении с кочевой, полной набегов и катастроф жизнью охотников и собирателей – наконец привела к досугу, необходимому для возникновения искусства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.